

Владимир Личутин



БЕГЛЕЦ
ИЗ РАЯ

Владимир Личутин

Беглец из рая

«ВЕЧЕ»

2004

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6

Личутин В. В.

Беглец из рая / В. В. Личутин — «ВЕЧЕ», 2004

ISBN 978-5-4484-8913-6

Этот роман повествует о мятущейся душе интеллигента, о поисках им своего места в современной России. Роман о последних годах ельцинского правления в преддверии нового века написан в жанре психологического детектива.

История жизни «беглеца из рая», учёного-психолога и бывшего советника президента, соединяется в романе с историей сельских и городских жителей в России конца XX в. Неповторимым личутинским языком создаётся образ человека, не нашедшего своего места в новых исторических реалиях, но стремящегося сохранить «душу живу», вопреки всему жаждущую любви, нежности, человеческого тепла и взаимопонимания. Сколько суждено ему страдать и обретёт ли он утраченное счастье – узнает нынешний читатель... На обложке – портрет В. Личутина работы художника А. Алмазова.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4484-8913-6

© Личутин В. В., 2004
© ВЕЧЕ, 2004

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	13
3	20
4	26
5	36
6	44
7	51
8	60
9	72
10	79
11	87
12	97
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Владимир Личутин

Беглец из рая

© Личутин В.В., 2023

© ООО «Издательство «Вече», 2023

Часть первая

1

Наверное, в каждом из нас, как в плотно запертом срубце, сидит медведь и ждет своего часа; но стоит лишь дать слабину, приотпахнуть кованую дверцу, приотпустить цепи, тут и заломает чёрт лохматый, подомнет под себя божью душу, выпустит дух вон, – столько и нажился. Но кто пасет его, братцы, до времени, ярого и немилостивого? Кто сторожит в каждую минуту неусыпно, не дает поноровки, не попускает на волю, не повязывает сердитого дядьку невидимыми надежными постромками? Как бы разглядеть тот таинственный облик сердечного стража, удостовериться в его незыблемой силе, чтобы, укрепясь в духе, неспешно брести до края лет, не боясь смуты? Где обрести незамутненную ровность жизни, чтобы не расплескать ее живую благодатную водицу по пустякам, чтобы после не расплакаться, жалея себя, несчастную сиротину. А то ведь, будто по павнам, по болотным чарусам, провожаемый девкой-марухой, правишь свой нерадостный путь с кочки на кочку, боясь угодить в провальные мшарные окна, коварно призадернутые зеленой тончайшей паволокой, скачешь по краю черного, блестящего, будто камень-аспид, бездонного озера, дышащего гибельным тленом, похожего на зловещий проран, вход в айдовы теснины, при виде которого смертно сжимается ваша душа, хотя бы и была втиснута эта дегтярная вода в немеркнувшие солнечные зазывные ризы из выспевшей рудо-желтой морошки. А тут еще вечный бессонный медведь «шеволится» в груди, притягивает голову долу, отымает взор от пространных небес, где вздымаются ледяные горы с шапками из раскаленных угольев. Ну как тут не оступиться-то, братцы мои, как не воззвать с тоскою: «Господи, помоги и помилуй!...»

И вот нынче я убил человека.

По правде сказать, я давно этого хотел, но не мог сыскать верных путей спасения, и это меня держало: как бы ни изворачивался мой гибкий ум, каких бы скидок и тайных троп ни изобретал, в какие бы схороны ни укрывал, но все сводилось к печальному концу: хитрые узелки распутывались, мудреные петельки развязывались, ко мне в хижу являлся государственный человек с наганом, хомутал в стальные наручники и тащил в каталажку; на этом моя голова замирала, наполнялась стужею и переставала работать.

Обнаружилось, что вся огромная родная земля с ее непролазными глухими уремами и таежными распадками, с горными теснинами и охотничьими ухажьями за сотни поприщ от человеческого жилья отказывалась меня укрывать; наконец-то Правда Закона натуго запеленала страну неусыпным надзором, лишила народ воли и даже крохотных мечтаний скрыться от власти. Я смутно догадывался, что вместе с неотвратимостью наказания, о которой так хлопочут негодяи и сильные мира сего, похитившие власть, я невольно лишился самого главного, что хотя бы в наивных мыслях тешило русского человека, которому тайно всегда хотелось взбунтоваться, выйти из подчинения, насладиться яростью. Ибо всякий бунт есть мщение; и хотя он не обходится без крови, в нем есть некий смысл, освященный Богом. Я никак не мог понять, что когда человек помышляет убить другого, забрать у него жизнь, дарованную Господом, он не боится никакого суда: ни земного, ни Небесного, а значит, не думает о спасении. Это происходит сразу, неожиданно, как настигает всякая напасть, словно в опойном сне, шало, опрометчиво, безрассудно, с неведомым прежде сердечным жаром в груди, как бы там вдруг всякое жалостное чувство выдуло ознобным ветром и хмельным просверком в голове.

...Так со мною и случилось.

Был день поминовения усопших на Петровщину. На задах моей избы маячат кладбищенские ворота, и Жабки вроде бы намерились за один мах перекочевать сюда, чтобы отгоревать

разом и усопнуть; жиденькая струйка старушечек долго сочилась в издрябшие серые ворота, неся с собою узелки и бидончики, и уже никто от могилок не ворачивался домой. Из окна мне виден был окраек деревни, густо закиданный травяной дурниною; сквозь пшеничные султаны и просянные метелки едва просвечивали низкие, в три окна, изобки, тоже с охотою утекающие в землю. Все сущее дождалось наконец-то зова архангеловой трубы и, взяв с собою погребальные скромные пожитки, охотно пустилось в последний путь.

Погост был чужим для меня, все мои предки оследились в иных краях, ныне полузабытых, но что-то неожиданно позвало меня влиться в мелеющий ручеек, будто я испугался остаться в сиротстве на матери-земле и увидеть такое, что не под силу знать простому человеку. Я торопливо сунул пару вареных яиц в карман, чтобы поздравить усопших с праздником, разделить с ними трапезу, споро миновал окраек огорода, сразу угодил на красную горку, густо поросшую сосенником, сквозь который просверкивала внизу млечно-белая река Проня. Под этими вековыми деревьями, одетыми в богатырские медные кольчуги, старушонки казались особенно жалконькими, словно бы вросшими в землю по колени, а то и по грудь; у иных лишь макушки торчали из рудо-желтого песка. Вдовицы ползали у могилок, слово бы вымаливали себе прощения, ощипывали с холмушек осотник, реденький пырей, заячью капусту и повитель жесткого мышиного горошка, дрожащими пальцами трусили по могилкам сухари, баранки и карамели, кто и водчонкой наполнял стакашек, уже замшелый от дождей и лесной трухи, кто приглашал к угощению лесных птах и зверюшек, охотно навещающих кладбище.

Баба Груня, по прозвищу Королишка, припав к могиле лицом, глухо голошенила, как птица-каркун, выдирала из груди отрывистые мольбы:

– Ой, Ванюшка, родимый, и на кого ты меня спокинул горе куковать. И пошто ты не позовешь меня до себе. И неуж не соскучился? Ведь и не с кем тебе тамотки слова молвить.

Как ни тихо, сторожко ступал я меж крестов, Груня каким-то особым чутьем расслышала меня, прынула от холмушки, будто устыдясь стороннего человека, торопливо заотряхивалась, сбивая с колен песчаный прах. Глазенки у Груни особенно яркие на приотекшем бледном лице, карие с янтарной искрою, сияют, как церковные потиры. Будто и не была только что, не причитывала, не выплакивала горе.

– Соскучилась по мужику-то? – спросил я первое, что пришло на ум, огибая чью-то забытую могилку, больше похожую на кочку, принакрытую кудрявым серебристым мхом.

– А то нет... Зову Ваню, а он молчит. Вот и водочки налила. На, говорю, выпей. А он молчит. И нынче ничего не сказал. Хоть бы словечко брякнул. Думает, наверное, на что мне старая кокоря. На земле-то надоела хуже горькой редьки, а еще к себе звать... Молчит дедко. – Груня тяжело вздохнула, но и как-то прощально, словно освобождаясь от надсады, и принялась деловито выминать крутое яйцо и высевать мякоть вместе со скорлупою.

– И неуж из могилы что слышать? – глуповато улыбаясь, спросил я, – Иль туда телефон спущен? Покойнику на грудь, чтобы вести на тот свет перенимать.

– Спущен, Пашенька, спущен. А ты, Пашеня, не ленись, пади на коленки и послушай. Он тебя за брата числил. Может, и отзовется глухой чётрт.

Колченого переступая, клоня ковыльную голову к земле, я вознамерился было прильнуть к знакомой дернинке, под которою пятый год жил не чужой для меня человек – Иван Горбачев – по прозвищу Горбач. Тут кто-то окликнул меня, словно бы голос донесся из могилы. Я оглянулся, увидел серый бетонный крест на взлобке (такие кресты маячили прежде в ковыльных степях), почудившийся мне удивительно знакомым. Держа в руках початую бутылку, сутулился Фёдор Зулус, сын Груни, и зачем-то манил меня, брякая граненой стопкой по зеленому «хрусталю». Такой порченной водкой по двенадцать рублей за посудину затаривают деревенскую бедноту подпольные спиртовозы.

– Откуда такой крест взялся? Прежде я не видал что-то. Иль зимой кто преставился из новых русских?

– Где? Какой крест? – спросила Груня, приставила ладонь к подслеповатым глазам, выглядывая на погосте меж деревьев свежую холмушку. – Примстилось тебе, Паша. На вот тебе трубку. Она тебя с дедом через небушко свяжет. Я тебе и номер наберу.

Старица коряво заплутала пальцем по перламутровым кнопкам, и пластмассовая темно-серая жаба заквакала, по тончайшим духопроводам, через тыщи небесных верст добираясь до съехавшего на тот свет Ивана Горбачева, хотя он лежал тут, под ногами, в перевитой корнями земле, откуда уже пробилась тоненькая узловатая рябинка. Я оттолкнул Грунину руку: даже смотреть на пупырчатую жабу было мерзко, не то что в ладонь брать эту склизкую, с раздувшимися щеками, смертноледяную гнусь.

– Звони сама, не отступайся, – посоветовал я бабене и, призываемый стеклянной музыкой, подошел к Зулусу. Бетонный крест подпирает небеса, его взглавие было вровень с вершинами кудрявых сосен, сыплющих на могилки древесный сор; на верхней перекладине, купаясь в небесном водополе, сидел ворон-каркун и деловито чистил перья.

– На, выпей, – Зулус протянул стопарик с желтыми разводами плесени, на дне плавали песчинки, похожие на золотой шлих. Пестрые, как у матери, глаза Фёдора глянули неожиданно мстительно, словно бы я занял большие деньги и не отдал вовремя, и вот сейчас Зулус «включал счетчик»; щетка седых с чернью усов вздернулась над губою, обнажились плотные желтые зубы и ребристая в белых пятнах десна. Такая гримаса обычно случается у собаки, когда она намерилась загрызаться, стоять за свою сахарную кость.

– Ты же знаешь, Зулус, я не пью. Мне врачи не велели.

– Не плюй в колодец, Паша. Со мной лучше не ссориться.

– Кто помер-то? – Я попытался обогнуть Зулуса и разглядеть фотографию, но мужик жестко выставлял руку перед самым моим носом, закрывая обзор. Граненый стакашек покачивался на толстой ладони, как обломок горного хрусталя, искристо-сочного, с голубым отливом в сердцевине и бусинкой кровцы, впаянной еще при зарождении минерала.

– А ты не ерестись, ты выпей, – угрожливо повторил Зулус и крюком полусогнутой длинной руки как бы залучил мою голову в петлю, закорил, загнал в капкан. Я скосил взгляд: перед моими глазами смуглое предплечье бугрилось, как пудовая гиря, и по мышце, скоро набухая, потекли голубые ручьи, готовые прободить завяленную кожу. Бычья сила быстро сливалась в емкую посудину и хотела удушить меня. – Нынче только Христос не пьет, потому что у него руки приколочены, – насмехаясь, в самое ухо гундел Зулус, дыша махрою и перегаром. – А особенно на халяву чего не пить? На халяву только дурачок не пьет, а ты у нас шибко умный. Слышь? Пей, скотина, а не то силой волью. Волью, а ты крякнешь, хукнешь и другую попросишь налить. А я не дам. Я тебе скажу: иди на х... дармоед поганый.

И что мне оставалось делать, братцы? Белый свет стремительно померк в моей голове, а черная дурь ударила в виски. Сколько нашлось силы, я дернулся из объятий, не снеся насилья над собою, ударил костистой макушкой снизу вверх и угодил Зулусу по зубам: мужик охнул, отступил на шаг, удивленно разглядывая нахального комара, но тут же оступился в крохотную ямку (заросшую могилу), и нога, наверное, угодила в древнюю домовину и застряла в ней. Зулус качнулся и, не устояв, полетел на спину. А возле, слегка приподнявшись полозями на кочках, лежала тракторная волокуша, рубленая из цельных сосновых кряжей, на которой, видимо, притянули на погост бетонный крест, а после и забыли за ненадобностью, как часто случается на Руси. Ей бы век и таиться здесь, обрастая лопушатником, потиху истлевать и трухнуть, утопая, погружаясь в прах, подобно гробовой колоде, да вот понадобилась для последнего смертного дела.

Странно, как в решительные минуты утончается человеческий взгляд, как сполошливо лихорадочен, но и особенно пристален он, угадывая все наперед, что случится ныче, и, наверное, от сердечного напряжения, от внутреннего испуга и тайного любопытства, с каким подмеча-

ется всякая мелочь, знание грядущего становится вещим, а само будущее, преодолевая невидимые границы, уплотняет время и пересекает границы, смещаясь назад.

Зулус лишь качнулся беспомощно назад, но я в эту секунду увидел и тракторный зубчатый след протекторов, похожий на глубокие рваные раны, и комья перевернутой кладбищенской глинки, и вязь травяных белесых кореньев, напоминающих скотские порванные жилы, и блескущие бревна волокуши с пролысинами желтой неободранной шкуры, и барошный гвоздь, торчащий из слеги, похожий на наконечник рыбацкой остроги, слегка тронутый кровцой свежей ржавчины. Зулус всей тяжестью громоздкого тела угодил именно на этот штырь, и тот, словно наконечник рогатины, насадил мужика, пронзил бедного насквозь, и конец его, как птичий клюв, выглянул из грудины. Взгляд Федора померк, как бы внутри человека вырубili свет, глаза покрылись тончайшей зеркальной поволокою, губы страдальчески задрожали, и в левый угол искривленного рта протекла тонкая алая струйка брусничного морса...

Безумье какое-то, братцы! Вот был человек, и нет его. Каких крохотных усилий достало, чтобы отнять чужую жизнь. Бред какой-то, право. И это я убил человека?

Чтобы там ни говорили, что Зулус оступился, что нога подвела, что так подверстались обстоятельства, что с моей стороны не было насилия, что это судьба решает, кому как скончать свои дни, но ведь именно я приложил руку. И к чему оправдания, к чему? Я своими руками убил человека, исполнив тайное желание. Мне бы помочь несчастному, поспешить за помощью в деревню, поднять Жабки на пяты, но я, влекомый внезапным страхом, как бы вырываясь из жуткого сна, кинулся прочь с красной горки, преодолевая гнилой ручей, проломился сквозь камыши, миновал вязкий болотистый тягун, утопая в коричневой дурной жиже по колена и, хватаясь за склизкие ветви узловатых ольшаников, выполз на другую сторону лощины, в густую поросль жилистых папоротников, задыхаясь, побарывая звенящую пустоту в груди, замирая мчащееся сердце, наконец-то свалился в тинистую густую прель, из остатка сил еще сыскивая спасительную нору, и тут сломался вдруг, обреченно замер, прислушиваясь к внезапной тишине. Гулкая всемирная тишина стояла в лесу, и только слышно было, как стучала в висках кровь, больно пурхалось сердце, да сквозь елниники едва проникал гул большегрузных машин, взрывающихся на подъеме.

«Туда надо, туда, – подсказывала беспокойная мысль, – там дорога на Москву, там попутки, а в Москве, как иголка в стогу...» И вдруг чей-то спокойный сердечный голос провещал с вышины: «Куда деваеессе, куда сховаеессе, милый? Везде найдут».

Затрещали сучья, кто-то пробирался лесом, разводя руками кусты чахлого малинника, жаркое дыхание внезапно обожгло щеку. Я весь напрягся от ужаса... И проснулся.

Слава богу! Сон был, сон. Гулко билось сердце, спешило куда-то, душа просилась вон. Мать бродила по избе, бурчала себе под нос: «Куда чего деваю, ну никак не найду, старая». Псишко стоял подле дивана и дышал запашистым перегаром прямо в лицо, вывалив от жары длинный язык; черные, без просвета, глаза были, как два прогоревших березовых угля, в глубине которых еще сохранялся жар былого пламени. Слава богу, снова с облегчением подумал я, то был всего лишь полдневный сон. Разламывая отекавшее тело, выбрел на крыльцо. На воле стоял июльский зной, из кладбищенских ворот устало волоклись последние поклонники. С каким-то странным любопытством они взглядывали на меня, как на диковинного зверя, и тут же отворачивались, как бы устращаясь моего вида. Появился Фёдор Зулус, жив-живехонек, деловито запахнул ворота, подпер батожком, чтобы не забредал скот, и вдруг, не спросясь, резко отпахнул калитку. У Зулуса было мертвенно-бледное лицо с пятаками под глазами, хрящеватый длинный нос, слегка раздвоенный, будто секанули по нему тупым ножом, сейчас призагнуллся, как ястребиный клюв... Радость-то какая, милые мои, радость неиссекновенная, Боже мой! Жив соседushко, жив Зулус, грудь колесом и на тельнике ни кровинки, только шея в странных проточинах, будто ее изъели улитки. Вот ведь что набередит, когда не ко времени обратишься подушку – милую подружку. Чур меня, чур...

В избе звенькнуло, отпахнулась оконная створка, ситцевая в голубой горох занавеска выпорхнула на волю, запахло стряпнею, только что высунутой из печи. Мать, небось, сейчас куропачьим крылышком подмазывает пироги, сметывая на столешню с прокаленного противня. Даже почувствовал, как голодная слюнка сплывала на кончике языка и тут же иссохла, испарилась в гортань. И мимолетное видение тоже истончилось, иссякло и пропало. Я тупо перевел взгляд на Зулуса, похожего на призрак, наваждение и вместе с тем плотского до каждой мелочи; у мужика были красные сапоги с подвернутыми голяшками, и на белых пушистых отворотах налипли комья бурой земли, будто Фёдор только что копал себе могилу и вот вылез из ямки, чтобы забрать с собою. Я еще не мог выбрести из сна, был как бы в потном бреду, и явь причудливо мешалась с блазнью. Не скрывая радости, я спросил косным языком:

– Фёдор, с праздничком Христовым! Иль чего случилось? На тебе лица нет, как из гроба. А я тебя только что во сне видел...

– Слушай, колченогий. Ты мою девку в блуд не сбивай, – грубо сказал Зулус.

– Ты что, сбрендил?

– Последний раз говорю, колченогий: не рыскай за моей девкой, не для тебя рощена.

Зулус надвигался вразвалку, как бы прогибаясь от собственной тяжести по щиколотку в рыхлую землю, глубоко просунув руки в клапаны камуфляжных штанов, стиснув кулаки, отчего казалось, что в каждом кармане у него таилось по гранате. Мне было обидно, что обозвали «колченогим», и радость во мне сразу попритухла. Чего смеяться над чужими горями, верно? Сегодня ты во пиру, а завтра – в ящике.

Зулус приблизился вплотную и занял собою все живое пространство; он надвинулся, как человек-гора, бровастый, зевластый, с густой щетиной на крутых скулях, глаза сверлили меня из-под небес, склизкие, как налимья шкура, и сразу лишил меня воздуха; круто запахло тленом, влажной землею, сырью болотистой прели, палой иглицей, под которой вызрела свежая грибница. От гостя несло матерым кабаном, диким, сердитым вепрем, случайно поднятым с лежки. Я с тоскою взглянул в дальний конец двора в надежде, а не торчит ли на своей лавочке Артемон Баринов, не мусолит ли нескончаемую махорную сосулю. Артемон – егерь, у него ружье всегда под рукою.

Зулус надвинулся животом, и я невольно уперся ладонями в тугие жироватые мяса, пытаюсь оборониться квелыми ручонками. Но куда там, разве каменную стену сдвинешь? Мелькнула мысль: ухватить, что ли, за корень? Но неприлично как-то, неудобно, ведь не война же, не убивать же явился Зулус, да и чем таким особым насолил я, горожанин, Фёдору Горбачеву, который за дочь свою единственную готов любому голову открутить.

Зулус напирал брюшиною с озорством, иль с тем нахальством сытого, благополучного человека, что без зазрения совести истирает беспомощного в порошок; и ладони мои ослабли и невольно вскользнули в пашину к налитым соками ядрам.

– Ну больно же мне, ой как больно! – завопил я... – Это Зулус вдруг подцепил меня, будто крючьями, за обе щеки и, сдирая с них кожу лафтакими, подбросил в занебесье. Я долго летел меж пуховыми белояровыми облачками, меж сенных копен, выставленных вышним работником, и причудливых дивных птиц, похожих на райских лебедей, спиною карминножелтых, а в подбрюшьи младенчески розовых, и все пытался, кружась, взмоститься божьей птице на взгорбок меж медленных крыльев. Но все было впусте, Господь навсегда оставил меня, и вот я камнем грянулся на землю, угодил на бетонный старинный крест, безо всякой нужды лежавший у сарайки, оставшийся еще от прежнего хозяина, а ныне густо обросший крапивой и цветущим пустырником. Но отчего-то сразу не испустил дух; не под моей ли тяжестью, но земля вдруг расступилась, как от землетрясения, и подо мною оказалось бездонное провалище, но я не рухнул вниз, но как бы поплыл на кресте, кругами опускаясь вниз, как на ковре-самолете; пропасть была прозрачно чиста, словно осеннее ночное небо, когда видна невооруженному глазу каждая звездная пылинка, и, изумясь, уже позабыв Зулуса, я воскликнул: «Господи, какая там

глубина!» И застонал от неведомой боли, скрутившей сердце, от тоски, что уже никогда мне не бывать на земле...

– Сынок, проснися. Ну что ты кричишь как зарезанный. – Мать с тревогою трясла меня за плечи. Я беспамятно еще, с великим трудом открыл натекшие плесенью глаза, едва понимая, что все мне лишь набредилось. Сквозь едкую накипь слез увидел размытое, такое родное материнское лицо, туго обтянутое морщиноватой кожей, смуглое, словно бы навсегда проклятое однажды сухим жаром июльского полдневного солнца, с круглыми сорочьими глазами. Мать гладила мою голову птичьими прозрачными лапками, будто помазывала меня глухариным крылышком, как сдобный рыбный пирог, и участливо укоряла:

– Ну что ты, сынок, не ко времени улегся спать. Воля, Пашенька, человека портит. А ты волю почуял. Вот так сгниешь на диване и лет своих не услышишь... А я-то, Пашенька, до семидесяти годков возраста не знала, думала веком так – бегом да вприпрыжку. Бывало, схвачу корзину да в лес по ягоды. В лес тропкой не брала, все напрямиком. Сучья из-под ног, как воробы, только отлетывают...

Я сел на диван, остужая ступни о половицы крашеного пола, сердце отчаянно колотилось, готовое выскочить из грудины; и никак не мог взять в толк: иль я кого надысь уколол, иль меня нынче прикончили. Сон призатуманился, потерял остроту, но в груди оставался дурной осадок, как предчувствие чего-то неизбежного. Мать бродила по избе неторопливо, часто прихватывалась, будто невзначай, то за дверной косяк, то за край столешни, иль, приподняв конец вафельного полотенца, задумчиво гладила приотмкнутую стряпню, прищипывала пироги за румяные боки, стучала по донцам кулебяки с рыбою – не отволгли ли. Сорок лет Мария Степановна простояла на пекарне у квашни, тонны теста понянькала руками, без усталости кормила деревню хлебами, и там – под столом на полу, повеянным тонким снежком мучных высевок, – не однажды сыпывал я, окруженный хлебными запахами.

Наклонившись над пирогами, мать бормотала:

– Нынче праздник, дак печеное ись надо. Когда праздник, дак печеное едят. Так у нас в Нюхче исстари велось. Иль позабыл, Паша? А тут, в Жабках, будто и не люди живут. Все покупное, одни батоны, зубы не берут. В худое место ты приволок меня, Паша... И на кой ты волочишь меня за собою, как чебодан без ручки? На кой ляд я нужна тебе старая? Вот доживешь до моих лет и поймешь, что старым людям надо на одном месте сидеть. Потому что стары люди никому не должны мешать.

Я краем уха слушал привычную материну песню, не вникая в ее смысл. Грустная была та песня, с намеком о близком конце, де, смерть за дверью, де, хватит терзать старую, а везика без промешки к родным могилам. Где ни бегай по свету, а ложиться надо в свою землю.

– Увез бы ты меня, Паша, домой. Изба еще совсем хороша, а имения сколько зазря пропадает, наживано ведь было, сколько труда трачено. Дров за два года не истопить, да шуба овчинная, да пальтов целых три, да платьев большой сундук. И, эх, сынок, живу я тут у тебя, как мышь в чужом чулане, и ворохнуться боюсь. А вдруг что не так... А на родине, бывало, иду, всяк поклонится и приветит: «Здравствуй, Марья Степановна. Скажи, голубушка, как живешь-здравствуешь». А туть немтыри, ей-богу, глаз навстречу не подымут, губ не разожмут, словечка добродного не кинут...

Что тут сказать: воистину, родина притужает христового человека, не дает спокойно спать, все зовет к себе, подбивает в боки середка ночи, все позывает бежать на станцию за билетом: де, не опоздай. А раздумаешься – и оторопь: куда, братцы, ехать, коли все сгнило и порушилось. Великая страна пропадает, можно сказать, ни за полушку; лишь тем и живет, что припала к нефтяному кранику. Бог милостыню кинул невесте за какие заслуги; а перекрой последнее – и от жажды околет.

– Был я, матушка, в нашей Нюхче, ведомы мне твои сказки. Нынче каждая побрехонька для тебя, как сусальный леденец, а не студеной сосулька.

Пять лет тому едва добрался на случайной попутке, чуть коньки не отбросил, когда через Кен-озеро в кузове ехал. Погрязла деревнюшка в снегах, сиротские дымы кое-где, тропка по порядку едва видна, хлебов неделю не привозили – дороги нет. Сугробы по окна, будто все вымерли, едва пробился к родному порогу. Зашел в дом, мать и не ждала. Сутулится у буржуйки, как нищенка, в старом салопе, подпоясанном веревкою, лицо в саже, на коленях чашка с варевом, руки в рукавицах, ложку едва держит старая, глаза окуневые от дыма, чуть видят, обметаны трахомою. Эх, вдовья жизнь, что редька с квасом: и брюхо набил до изжоги, а урчит, словно не ел. Увидала, встрепенулась, а встать не может. Заплакала, стянула варежки, а ладони, словно кипятком обварены, кожа слезла. Взмолилась, запричитывала:

– Бог тебя послал, сыночек, услышал мои моления. Пашенька, не могу боле тут жить. Устала. Не могу боле...

И вот три года побыла на стороне, и нынче каждый прожитый день, как каторга, словно родная деревнюшка медом намазана. А куда везти? Старого одра с живодерни не ворачивают; поди, пропал совсем домишко за эти годы; и прежде в подоконья кулак проходил, мыши половицы изъели, жучок потолка источил в труху: плечом подтолкни – и посыплется изобка. Одни дрова, одни дрова, только некому топить...

2

Ни шатко ни валко бродит Марьюшка по избе, но дело-то из рук не выпадает, пока не валится. Вот и самовар зачуфыкал, взгромоздился пузатый на стол, и пироги, как жареные караси, заняли свое место; хотя печеному-вареному не долгоденствие, и брюхо добра не помнит, но есть и у деревенской стряпни особенные, непередаваемые в словах минуты, когда ласкает она взгляд печи-щанина, как малое дитя, которое хочется погладить ладонью, как бы снять с доверчивой макушки телесную теплоту и упрятать ее в сердце, будто пенку с топленого молока. И несколько минут глядит на них старенькая зачарованно, словно боится распушить, распушать, разрушить порядок пирогов на столе и лишит их самодовольной жизни.

«Столько и нажились», – наверное, подумает каждый, жалостливо провожая взглядом последний пирог, исчезающий в ненасытном животишке. – «И, эх, милай, только родился, и уж помирать пора; вроде и зазря на свет белый пихались, гордовато млеи, пухли в яром печном жару, претерпевая страдания, подпрыгивая на каленом железном противне. А может, и не зря – все же человечью жизнь продлили, душу повеселили, подтолкнули ее, пусть и на мгновенную, скоро угасающую, но радость быванья на матери-земле».

Я сгорбился за столом, как кошка у блюдца с молоком, уже не видя в нем интереса, и в тихом благорастворении, лежащем на лице Марьи Степановны, никак не могу отыскать для себя укрепы. Перевожу взгляд в бокастый самовар, занимающий всю вселенную, и нахожу там кривое расплывшееся рыло с седым клочком бороды, редкое облачко заснеженных волос, похожих на отцветающую шапку плешивца, – дунь ветер, отлетят пуховинки с одуванчика, и мясистые уши топориком.

Может, на самом деле я куда приглядчивей, фасонистей, особенно если марафету навести, но в медном зеркале отражается мой внутренний раздрызг и неустрой, когда искривленные, взбулгаченные сном чувства в самом безобразном виде вылезли на мою физиономию.

Мать жеманно, топыря мизинец, надкусывает уголок кулебяки, елозит, катает соленый мякиш беззубыми деснами и не торопится проглотить его, словно бы тешит себя праздничным печивом. Но я-то знаю, что у матери плохой желудок, и старуха боится растревожить его стряпнею. Помнит мать заповеданное стариками: «Да не едим хлеба горячева и гораздо мякоча, да пусть переночует, ибо от него многие стомаховы (то бишь – животные) болезни приключаются». Наглотайся сдуру свежих пирогов, так они тебя после замучают и удушат.

Я стараюсь обойти мать взглядом, ибо ничего в ее сорочьих глазенках, кроме жалости, не увижу.

– Ой, Паша, и забукосел же ты, как старый дедко. Снял бы ты шерсть под губою. На кой ляд она тебе? Пей-ка лучше чай, пока свежий. Чай пить – не дрова рубить, спина не отвалится. Иль заболел чего? – в материных глазах тревога. – Чай некусной будет. Не снова же подогреть?.. Слышь, тебе говорю. Очнися. Иль скоромного чего во снях увидел? Иль покойник наснился? Мне было брат покойный привиделся, печальный такой, в штанах с красными лампасами. Я прежде таких штанов не видывала. Нет, постой... Когда под Мурманском в ту войну стояли, к нам на станцию приезжал большой начальник в таких же, бывает, штанах с красными ручьями. Ну, я брату и говорю: «Ты, Митя, не переживай, я тебе новы штаны сошью, да с кем ли перешлю...» А бывает, что покойник снится к перемене погоды, иль кто долги вдруг отдаст, иль к хорошей вести. Всякое, сын, бывает. Если богатство снится, иль деньги, то к худу, а покойник – к милости, он помощи нам сулит с того света, он нас жалеет, сиротин грешных».

Вот ведь, старая, почти угадала сыновье смятение. Но и ей не рассудить сон: сначала я убил, потом меня скончали.

– Иль наснилось чего?

Я кивнул, с трудом унимая досаду; в еще неостывшем видении хотелось жить долго, потрошить его, как убитую скотину, разделявать, кровоточащую, на полти и крохотные волоти, раздергивать по жилкам, разбирать по мосоликам, чтобы узнать наконец насуленное свыше.

– Будешь, парень, чурилою жить, в пень оборотишься. Еще и не то наснится. Будешь холостяжить, еще и не то сблазнит. Снял бы ты бороду, не старил бы ты себя преж своих годов. Побрить бы, дак еще как мальчик.

– Ну, мама, перестала бы ты ерунду молоть. И не надоело тебе? – невольно вскричал я. – Какая жена, когда мир рушится. Какие дети, когда ад вокруг. Для панели растить их или в тюрьму? Да и где такую жену найти, чтобы, как солнце, в дому.

– Вон запел, соловьем залился, – засмеялась тихохонько, как ручей, зажурчала мать, прикрывая ладонью рот, чтобы не вылетали крошки. – Хочешь, значит, мякинького-то. Еще не засох на корню. Только ты, сынок, не тяни. Не в папильку та, не в папильку, – скинулась мать в воспоминания, неожиданные для нее. – У того и присловье было в ходу: «Баба не лужа, хватит и для мужа». Бегун был, Царство ему, погаковник, родного угла не знал, тепло не хранил, ворота всегда нараспашку. Тихой был, смиренной, но падок до женщин. Так и льнул, как пчелы на мед. Раз вел себя непутево, то и смерть нехороша приключилась. Пил дак. Иль захлебнулся, иль удавился. Пришли к нему в избу, один на острову жил, а он уж зачоченел. Новая жена бросила, старая не захотела приехать, а какого одному мужику? Не житье, а слезы одне. Ваш брат говорит про нас: «Баба не человек, да и коза не скотина». А вы, мужичье, без нас разве люди? От вас псом смердит...

– Отец красивый был?

– Обыкновенный мужчина. Мужик и мужик... – Ничто не отразилось при этих словах на лице матери, даже мелкой зыби не качнулось в глазах от ветра воспоминаний. Говорила ровно, как о давно отболевшем, о полузабытом человеке, с коим когда-то пришлось делить постель.

– А что за женщины любили его? – домогался я, никогда не выдавший отца. Сколотный я был, случайно нажитой. Прежде мать Петруху своего никогда не вспоминала, как бы выкинув его из сердца, его родня не признавала меня за свою кровь, и я жил на белом свете случайно, по воле каприза судьбы, как бы вытканый из солнечных лучей, пролившихся в материно лоно, и вот в ее родильнице замесился, застряпался и по срокам выкатился на белый свет, обличьем своим действительно напоминающий румяный пшеничный колоб.

– На войне мужиков перебили. А баба схочет, так и на редьку заскочит, – с незамутненным лицом вспоминала мать, трудно вывязывая из крохотных лоскутьев памяти облик хоро-водника, припоминала его особые отлички, что приманивали к нему баб. – Может, и красивый был, кто знает. Кобель, дак.

– А ты любила его?

– А не любила бы, дак и ты бы не родился.

– А почему женщины кидали его? – Я выводывал, вытягивал из матери сокровенное, словно бы предполагал в отцовской судьбе отыскать для себя уроки, которых не избежать, но повторять бы не хотелось.

– Паша, – вдруг горько воскликнула мать, и без того тонкие сухие губы сурово стянулись в нитку, а скуластое, темное, как бы выдубленное жизнью, лицо напряглось от раздражения. О, я хорошо знал эти минуты и старался Марье Степановне не перечить. – Ведь гулял, дьявол, как ветер по соснам, как хорь по курам... Нет-нет, я не похуюю его, – быстро поправились, утерла концом белого головного плата приотмывший рот. – Он так-то ничего... смиренной был мужчина, кулаков не распускал, как другие, женщин не унижал. Наверное, и словечко какое-то знал притягливое, коли бабы к нему льнули... Дуры тоже, ой ли, дуры. Нас ведь только помани.

«Наверное, и словечко какое-то знал притягливое, коли бабы к нему льнули». Я невольно повторял признание матери, покидая стол. И мог бы, наверное, добавить: «Да умер-то без креста и покаяния...»

Кусок не лез в горло, да и сетования Марьюшки (как по-за глаза я называл мать) – словно наждак для души, и всякое доброрадное чувство, если и возникнет вдруг у бобыля, изотрут в порошок.

Надо будет записать в амбарную книгу, пригодится вдруг для работы... Вот оно, чисто народное. «Как аукнется, так и откликнется». Каким голосом позовешь, какое слово кинешь во все стороны, тем и спасешься, а иначе – блуждать в потемках суземков до скончания века. Магнетизм слова, наполненность особой неумираемой силой, осязаемость его... Кажется порою, что слово можно потрогать, ощупать его форму, как то делают слепые. Демонические люди, колдуны, обавники, чародеи и знахари, все травознатцы хорошо понимают глубину слова и его власть и охотно пользуются им, иль правя, иль подчиняясь его силе. Порой вовсе бессвязные, запальчивые и просто бессмысленные слова юродивого, дополненные энергией взволнованной, гневной иль тоскующей толпы, попадающие в резонанс с нею, воспринимаются не холодным умом, но только через уши особым сгустком мозга, может, крохотной извилиной его, и тогда могут сдвинуть гигантские массы народа на самые безрассудные поступки. К чему это я? Да... «Словом можно убить... словом можно полки повести» и т. д. И эти же слова, запечатленные на бумаге доброхотом и прочитанные глазами, не вызывают ничего, кроме утрюмой усмешки иль раздражения... Значит, тут действуют иные токопроводы, иные нервы соединяют глаза с иными уже сгустками мозга.

Вот находит гульливый человеченко самое простое словцо, вроде «утюшки», «лапушки», нашептывает его в розовое от смущения ушко, и зная, что врет напропалую, однако такой теплоты подпускает в голос, так улещивает, в такие шелка и бархаты окручивает льстиво-коварный голос свой, что девичье сердце неминуемо начинает дрожать, как осиновый лист под ветродуем, готовый отлететь с черена. Каким-то исповедимым образом магнетизм природного слова участвует в системе сбоев, нарушая всякую логику поступка. «От любви до ненависти один шаг». И на этот шаг может толкнуть иль неожиданное трепетное ласковое слово, настроенное на волну ждущей женской души, а то же самое слово, сказанное невпопад, в неурочный час, может вызвать многолетнюю вражду. Русское слово не только многолико, но в нем изначально заложено неистираемое противоречие, свойственное русской душе. Из этого многомыслия, многочувствия строится ряд ассоциативных картин, прямо противоположных заложенному смыслу.

«Живот» – брюхо, чрево, утроба, бочка ненасытная, чертова мельница и т. д.

«Живот» – нажитое добро, гобина, сундуки, амбары, скотина и т. д.

«Живот» – жизнь. «Смерти иль живота!» – кричит разъяренный душегубец над жертвою, взбулгаченный и потерявший здравость ума в кулачном бою...

Значит, в «системе сбоев как регуляторе потока жизни» потаенный, но корневой смысл в цепи событий может сыграть слово, сказанное с чувством любви иль ненависти. Ведь если знать притягливое слово, то можно горы своротить, такого немислимого можно накуделить, что и тысячей умов не разгрести. В то же время симбиоз нескольких значений в одном слове (этакая русская словесная матрешка) несет не только чувственное и эстетическое удовольствие, но и разрушительную неуправляемую силу. Например: «член» – в сексуальном смысле; он же – член политбюро; он же – член предложения; он же – член семьи и т. д. Помню, как мы хихикали в детстве, когда кто-то заговаривал о члене политбюро, образ стремительно принимался, терял политический смысл, как бы прилюдно обнажался этот человек, показывая всем свой срам, опускался до значения обывателя, рядового строителя жизни, какого-нибудь Ваньки Пронькина, который всегда ходил с расстегнутой ширинкой. А ведь мы были в те годы куда стеснительней и стыдливей нынешних подростков. Помню, что слово «презерватив» говорилось с оглядкой и смущением, оно считалось куда срамнее и грязнее самого отвратительного матерного слова.

А взять слово «лагерь». «Лагерь» – военный табор, место отдыха пионеров, лагерь социализма, международный лагерь и т. д. Какая ирония в этом слове, сколько насмешки над государственным устройством. Игрою слов воспользовались в свое время диссиденты для разрушения отечества; на игре слов расплодилось семейство обывателей-сатириков, для кого нет ничего святого, кроме своей стаи, кагала. Словом можно раздробить, истереть в пыль самый добрый замысел, убить на корню самые добрые христианские затеи, если пользоваться языком с намеренным умыслом иль без знания народной этики и эстетики, которая вся погружена в стихийное половодье языка...

Ведь кто-то сказал однажды, что в начале было Слово, и это Слово было Бог. Но никто не сказал, отчего слово – не воробей; его не залучить сладкой приманкою, оно живет само по себе и особую силу имеет; неправильно сказанное, оно неправильно и существует. Слово не поймать, как бабочку-капустницу, в марлевый сачок и не пришпилить к обоям жалцем иглы за бархатное тельце; его не уловить в пригоршню, как вон ту бабочку-крапивницу, хлопотливо мятущуюся средь зарослей сладко пахнувшей крапивы. Вон ее сполошливые оранжевые крылышки плещутся у амбарушки, где лежит бетонный крест, пляшут, будто игривые стебельки пламени по сухим былкам травяной ветоши. Какой ествяной привады наконец нашарило заботливое летучее существо, чтобы, отгаюдившись в зеве цветка, самому уснуть где-нибудь в пазьях ветхого дома или в пыльной темноте чердака, плотно сдвоив крылья, и потиху истлеть в прах, в ничто...

В сенях за спиною гулко всхлопала дверь, зашлепали по скрипучим древним половицам материны хлябающие на ногах валяные отопки. Я вздрогнул, как бы уличенный за дурным, вынырнул из дум и только тут понял, как глубоко ушел в размышления. Оказывается, работа ума имеет заразительное свойство, сходное с болезнью: она не оставляет человека ни на миг, угнездясь где-то в сознании и постоянно растравливая его, расчесывая, как чесоточный лишай. А ведь можно и не вынырнуть, братцы, иссякнуть, захлебнуться в бесплодных раздумьях, заблудиться в неведомых лабиринтах, откуда не выведет на белый свет и спасительный клубок материнной пряжи.

Чтобы не видеть мать, хромывая, я кособоко спустился с крыльца. Когда тебя не видят со стороны, можно быть самим собою, выпустить из узды каждую мясинку тела, расслабиться.

На заулке топтун-трава, где недоставало солнца, росла толстым ворсистым ковром и сладко щекотала босые плюсны. От пальцев ног по невидимым ручьям пролился электрический ток; меня как бы примкнули к небесным проводам, и каржавая головенка моя оживела, сбросила дремный туман, будто омытая утренней росой. Между матерью-землею и пластами воздуха, как между двумя конденсаторными пластинами, выросло мое квелое тельце психолога-душеведа, вызволив из небытия слабо потрескивающую невидимую молонью. А может, это в позвонках шеи хрустнуло ненароком, когда я повел головою, чтобы пообсмотреться?

В передней половине, где живут Бариновы, мать с сыном, пока тихо, несмотря на Петровщину. Дом тремя окнами выходит на речку Проню; от широкой воды отделяет лишь неширокий клочковатый наволочек, который прежде выкашивали, да куртина высокого тростника; голубоватые искры от заводи слабо проблескивают сквозь заросли жирной приречной дурнины, и лишь длинный мосток о две половицы да крашенная в зеленую краску лодчонка-поскодонка, сшитая из двух широких набоев и примкнутая на амбарный замок к железной штанге, и выдают, что река рядом и по ней можно плыть по нужде долго и далеко...

В моей половине избы прежде жил кузнец Семен Могутин. Этот саженный крест он отлил для себя из бетона, говорят, весом в два центнера, но когда помер, то не нашлось охочих мужиков и доброй тяги, чтобы выставить чудной намогильник над холмушкой. Так и остался бетонный крест во дворике, потиху погружаясь от собственной тяжести в мать-сыру землю, забрасываемый житейским сором. И лишь мои жалкие бесцельные потуги вызволяли память по кузнецу из небытия, очищали от хлама, отгребали мусор и свежую травянистую дернину. У

кузнеца был загодя приготовлен и гробишко, но мужик так долго коротал на белом свете, а домовина так упрямо дожидалась своего жильца на подволоке, что изопрела прежде жильца и вытлела. И когда собрались положить Могутину в ящик, то дно его выломилось от ветхости. И бабкин гробишко тоже дожидался на чердаке; в нем, старенькая, пережив мужа, хранила яблоки. По древности своей так скрючилась она, так припала к земле, придавливаемая горбиком, что по смерти не знали, как покоенку поместить в жилище. Мяли-мяли мертвую, та выпрямилась и вдруг приняла свой прежний рост и в гробишко не влезла, сердешная, оказался он мал. И тут вспомнили в Жабках, что покоенка была прежде рослой, статной и зычной, когда кричала свою корову Маньку на вечернюю дойку, то воронье во всей округе вздымалось в небо, вилось над Проней и, досадливо грая, долго не могло успокоиться...

Так вот, моя-то половина выходит окнами на травяной заулок и деревенское кладбище, выглядывая развалины церкви с покосившейся, почти рухнувшей главою, как-то странно, поптичьи положившей свою дырявую шапку с крестом на ребра провалившейся крыши. Прежде вечерами в руинах заседали мальчишки, тискали девчонок, смолили махру. А нынче в развалины зайти – страх долит. Кроваво-красный кирпич выкрошивается с внезапным шорохом и треском, осыпается в непроходимые заросли чертополоха, обнажая сплотку неистребимой извести, замешанной на куриных яйцах, на которой и велась старинная кладка. По кровле беспечно закудрявился березняк; как цыплаки за матухой, деревца карабкались в самое неожиданное место, прорастали в каждой щепоти праха, что натрушивался за долгие годы безвременья и безверия. В черных проемах окон свистел ветер, промывая недужные косточки храма, убаюкивая их, готовя старческие мощи к смерти; в долгие выюжные зимы храм молил о помощи, но мало кто в Жабках надсаживался сердцем и страдал от гибели вместилища веры, намоленного за сотни лет службы. И лишь сердобольные старушонки в поминные дни, навещая кладбище, втыкали с поклоном свечечки по карнизу, да на крючьях от оконных решеток цепляли венки из желтых купальниц да молодые березовые ветки. Но ограду Жабки крепили из последних сил, как могли городили, навешивали ворота, по веснам скородили фаблями меж могил, вытаскивая кладбищенский мусор на угол погоста, почти к нашему двору. Пробовал стыдить бабенок, да куда там, не усовестить; ведь живу в деревне мало, только летами, а к приезду уже виновника не сыскать, всяк отопрется и скинется на соседа...

Воистину, если Бог захочет наказать человека, то прежде всего отнимет у него разум. Да что я, братцы, если все человечество Господь сердито покарал; все надеются, что услышит сетования, опомнится народец, а увидев, что все надежды тщетны, махнул рукою и попустил, де, живите, немилосердые, как хотите, разрешил ему полной свободы, и в этой воле мир вовсе потерял свое назначение, заблудился и ныне прыгтью да бегом спешит к смрадной яме. Бог, наверное, никого не милует и не наказывает впрямую, но попуская на грех, отнимая любовный взгляд на мать-сыру землю, он как бы и прощается с нами навсегда; лишь молитвенные вздохи и причеты монастырских насельников и могут, наверное, слегка умягчить суровость Господа отрешенностью от стада людского.

Ну а у меня разума, видать, никогда и не ночевало. Где глаза у меня были, когда приобрел я в лесной стороне эту изобку и заселился в ней, как глухарь в болотной пустоши, словно бы решил сгинуть из виду человеческого. А ведь не было подобных намерений, видит Бог – не было. Хотя в те поры за триста, ну пятьсот рублей можно было не просто хижу старую, сараюшку отхватить, но – хоромы в два жила с горенками и повалушами, с амбаром и банею во дворе. Когда разрешили мужикам паспорта, те решительно выпроводили своих деток по большим городам, и много деревней запустошилось скоро и иссякло; огромные молчаливые, укорливые избы неизбежно истлевали без призора, порывая родовую нить.

Но меня Бог привел сюда неожиданно: за двести верст от столицы, за леса-болота, на берег вихлявой темной речушки Прони. Самое любопытное, что моя родная деревнюшка Нюхча, что стоит у Суны-реки за Кен-озером, как две капли воды похожа на эту, ну будто

родная сестра; тоже у кочкарного наволочка, у подошвы невысокого взгорбка, поросшего медным бором, и на той красной горке покоятся косточки всей родовой; и так же сини островерхие лесистые дали, отороченные багровым заревом заката; так же рехают на вздвижение лоси, играя свадьбы, так же плывут станицами гуси-лебеди, неторопко, вальяжно опираясь на крыла. Только воздух тут иной: более мягкий, податливый, больше в нем прели; теплее, пахучее осеня, и яблоки, что на родине за диво, долго горят под окнами уже в октябре, почти на голых ветвях, как елочные стеклянные шары; ино и замерзнут, охваченные неожиданной стужей, когда деревья стоят по щиколотку в снегу, неожиданно выпавшем, и те алые яблочки, будто вынутые из расплавленного воска, издалека манят к себе и ласкают взор. И если не снять их с ветки, то потемнеют, как бы облитые шоколадом, и незаметно в какую-то ночь скроются в травяной слякоти позднего сада...

И там, в Нюхче, тоже нет главной улицы, нет порядка домов, но избы, будто заботливые квочки на потаенных гнездах, попрятались о край бережины за кочкарники, в неопрятную скомканную волосню отжившей травы, никогда не знавшей косы и не выедаемой скотиною, за кусты ржавого ивняка, за березовые самосевы, словно бы каждый печищанин, боясь выскочить из мира, устроил себе особое житье.

И Жабки тоже постоянно топит вешницей, и сколько тогда страстей и охов, сколько слезливых молитв к Господу, чтобы спас и утешил; но лишь схлынет большая вода, высохнут подполицы, встанут на свое место убогие мебели – и сразу недавнее бедствие вон из головы, и начинается прежняя ровная жизнь до нового паводка.

Кажется, не ленись, отступи лишь за версту в глубь леса, где и земля пожирнее и травяные уголья богаче, и живи себе во спокой, а людям в почесть, так ведь ни у кого не мелькнет в голове, чтобы перетащить гнездовье.

Потому что реки не будет возле, не станет пред очами серебристых цветущих камышей, гулких и тяжких вздохов воды, растревоженной матухой-бобрихою или метровой, обросшей мохом щукою, не выплыватся под самым носом лещи, притираясь животами к осотам, переваливаясь с боку на бок и потеряв всякую осторожность.

И лодки в те поры не надобно, но, насунув на ноги резиновые бродни, обведи лещевое юрово легкой сетчонкой и волоки домой на раскаленную сковороду. Нет, что ни говори, но только река, пусть и скромная видом, дает ощущение полной воли, как бы размыкает капкан бесконечной туги и забот, и дает неиссякаемую надежду когда-нибудь по своей охоте, без принудилочки, кинуться в неизвестные пространства, разом отринув все заботы и развязав руки...

Я нагнулся над крестом, машинально выдергивая тугие, корявые стоянцы топтун-травы с лакированными мелкими листочками, погладил его шершавое заплесневелое бетонное тулово, невольно удивляясь тому, что и цементное, кажется, что вековечное литье незаметно поедают природные стихии. Покрытый оспою старости, какими-то лишайными пятнами, крест уже не казался здесь чужим, случайным, постепенно порастеряв свои стремительные очертания. На нем, наверное, «плотники» выпрямляли гвозди и скобы, когда обшивали избу, хозяйка рубила мясо, щепала на лучину смолевые поленца, гнули кочерги и железные дуги на парники. Выбоины и вмятины указывали на постоянное заделье, что велось на кресте, потерявшем свое назначение. В гробах хранили яблоки, а по кресту гуляли ручник или кувалда, или обух плотницкого топорышки... И тут я услышал, как по-за дворами забрякал молоток; такой мерный, спокойный стук бывает обычно, когда сшивают домовину; в нем таится какая-то задумчивая покорность, вроде бы сам железный обушок, загоняя гвоздь, приговаривает плотняку, что и твой черед не за горами, от судьбы не заслониться.

Казалось бы, Петровщина ныне, престольный праздник, никаких работ не ведут, большой грех, до гробишки ли тут. Но покойник не ждет, особенно в июльскую паруху... Значит, Славку-таксиста привезли из района... Склеили, подмазали безунывного шоферу, который всегда хвалился, что начал рулить с восьми лет и ходит по трассе под сто сорок, и вот, отча-

юга, сыскал свою смерть в четыре утра на пустынной сельской дороге. Откуда-то вынырнул случайный грузовик, и Славка впаялся в него на своем «жигуленке», как небесный метеор, только брызги разлетелись. А был краснощекий, губастый, крикливый, грудь колесом. Каждую субботу прилетал из столицы, чтобы круто накопачегариться на раздолье; обгорелым круглым животом, бывало, елозит на илистой отмели, как диковинный рыбий князь, после на карачках выползет на берег, где на луговинке на пестрой скатерти разоставлена снедь с толпой бутылок, и зовет всякого проходящего к столу грубым зычным голосом, выкатывая рачьи темные глазенки. «Сколько же в нем неистребимого здоровья, – каждый раз с грустью думал я, случайно угадывая на эту трапезу, и не в силах отказаться, чтобы не получить под горячую руку «леща», невольно засиживался в хмельной кампании. – Сколько какой-то напрасной или излишней удали, словно бы чугунную печку калят день-деньской, когда на зимнюю волю дверь нараспах. Словно бы избыток себя хочет пустить в распыл, чтобы оставить в пользу только разумную меру, годную для доживания отпущенных лет в ровном жару. Собирался нынешней осенью лететь с любовницей в Турцию, в Анталию, на тамошних пляжах покалить пузцо. И вот нет Славки, и Фёдор Зулус, прилетевший из Воркуты, ладит ему последний тихий прислон. А ведь до ста лет хотел жить человек, все приговаривал: я сердца не чую и давления не знаю, потому что я живу, как хочу; ем, чего душенька желает, у меня-де на столе все есть, я денег на жратву не считаю и пью, сколько душа принимает. Иль уснул в пути, иль сердце лопнуло от перегрузок; счастливый умер, не успев смерть распознать в лицо.

И без того редко на земле народом, и вот еще один жилец выпал и сразу умертвил, невосполнимо изубыточил часть деревни. В городе подобного острого чувства не возникает; там смерть поставлена на поток, люди уходят чередой, по невидимому эскалатору опускаясь в небытие, но пространство вокруг тебя не пустеет, оно по-прежнему заселено до эссенции, до густого варева, в котором не провернуть ложкою. А здесь, в деревеньке, уход каждого заметен; вот так дерево вековое, вдруг сраженное ветровалом, с грохотом падает, подминая молодую поросль, и на том месте остается долго незарастаемый прогал, пока-то заплывет ямина, иссох-нет задранная в небо выскеть, и истлеет, замшится, уйдет в нети палое трупище...

Побежал народ с матери-земли, доскочил, и не столько от бедности, ибо куда хуже живывали в двадцатом веке, но плодились, но выгоняли на белый свет молодую поросль, не боясь туга и лихолетья, ибо детьми хотели заякорить себя в людской памяти. Но заумирал ныне народ от тоски и печали, словно боится угодить в новое тысячелетье, где будет править антихрист. Одной ногой по-прежнему стоит на советском берегу, на котором в боях и с песнями строился земной рай, жалея расстаться с ним как с последней надеждою на миру, а другой ногою заступил в шаткую лодку, которую тянет прочь течением. И назад вернуться не может человек: на прежний, цветущий, как вспоминается, берег и заскочить в посудину не решается безвозвратно; вот так и мучается враскоряку, надеясь, что лодку прижмет обратно к матери-земле. И оттого, что не может никуда решиться – ни в ту ни в другую сторону, вымирает от тоски, гнетущей безрадостное сердце. От сердца ныне мрут-то, от разрыва сердечного. И Славка-то взлетел на небеса не потому, что подвела машина или умения не хватило, но сердце было в розжиге, постоянном кипятке...

3

Замолчал в верхнем конце деревни молоток, но недолго тишина стояла. В передку избы, где жили Бариновы, пошел шум. Это Анна поднялась на сына; значит, достал, огорая, проел несчастную до печенок. Но ничего не сгрохотало, не полетели на пол горшки и кринки: Анна – старуха бережливая, ей добро досталось со своих ногтей, но выкричаться надо, слить гнев, унять сердце.

– Ах ты, Артём, голова ломтём. Не нажорался еще, не нажог кишок? Мать ему бутылку дай! А ты заработал? Хоть копейку в дом принес? Только бы напиться да высцать.

Сын отмалчивался, не бруктел, неловко прихватывал за дужку дверь и не мог сладить. Значит, был уже хорош. Анна пугалась задеть сгоряча сына, в спину не выпроваживала, но, распаясь гарчавым, каким-то постоянно простуженным, басом, наверное, гремела на всю деревню, а может, и за Пронею-рекой, в соседней деревеньке Тюрвищах было слышать бабеню.

Наконец Артём выплыл на крыльцо, пришатываясь, широко разоставя длинные ноги, взгляделся в оба конца поросшей травой улицы, обвел рукою весь мир, который смог объять взглядом, и, весело шурясь, воскликнул:

– Молчи, мать! И это все мое. Я тут хозяин! Не понимаешь ты ничего, не понимаешь, потому что дура старая, отжила свое, и пора тебе в Могилевскую. А ты живешь зачем-то и ничего не петришь.

На этот грубый упрек должна бы Анна вспылить, дать сыну по загривку, но старуха неожиданно успокоилась и мягко, усмиряя до предела голосовые тяги, посетовала:

– Сын, сын, и что такое говоришь. Вот доживешь до моих лет, будут у тебя детки, и скажут они тебе однажды: «Отец, зажился ты на свете, помирать пора». И каково тебе будет, а? Ростила вас, растила, с горы на гору скакала, в каждую дырку тянулась, как мышь, чтобы вас прокормить. Помру, милый, и куска никто не подаст. Гаврош и есть Гаврош. Пустой ты человек.

– Гаврош был человек эпохи. Он ковал счастье вам, дуракам, а вы, темные, не распорядились. Вам – на блюдечке, а вы профукали.

Артём любит поговорить выпренно, когда опорожнит пару белоголовых по двенадцать рублей за бутылку (чем в конце века сводят с земли русских), и тогда в порыве счастливого, всехлюбящего сердца ему нестерпимо хочется хоть бы и земной шар раззять на доли и поко-выряться в его сердцевине, чтобы наладить работу. Он тогда – голова, царь вселенной, и сам Господь у него на посылках. А похвалебщик, а хвастунище, каких поискать, от широты натуры насулит золотые горы с таким напором, что невольно и поверишь. Триста курьеров во все концы, генерал-губернаторы на поклоне, званные обеды на тысячу персоний...

И пускай нудит мать, высокая костистая старуха, похожая на кремлевского гвардейца своею статью, пусть щелкает за спиною железными зубами, способными перекусить стальную проволоку, и давит на басы соборного органа, усаженного в ее грудь, – не про-ня-ть, не пронять никакими резонами, хоть всю землю перед ним ископытть.

Я же перебранки наслушался за много лет, и она отлетает от меня, как пыль с ушей; и хотя Анна постоянно втравливает меня в третейские судьи, но я не втягиваюсь в ругань, предпочитаю стоять в стороне. Милые ругаются – только тешатся, хотя илистый осадок на дне души каждый раз остается, уж слишком жестко разговаривает Гаврош с матерью, не чинясь с ее годами. И сейчас в пререковы я вступать не намерен, хотел затаиться в засторонке за амбарушкой, чтобы Гаврош не затянул меня в политику. Но колченогий, еще расплавленный недавним сном, не собранный в груд, я отступил как-то неловко и вдруг зацепил домашним шлепанцем (будь он неладен) за бетонное тело креста, качнулся из укрытия и невольно выдал свое присутствие.

– Пашка, ты чего там окопался? А ну подь до меня, как штык до трехлинейки. Козюля-мазюля, спроси у матери бутылек и подваливай. Большой разговор есть.

Анна смерила меня жалостливым взглядом, как порченого.

– Отшатись ты от него, Пашуня. Не слушай его. Не вяжись, сердешный, правду тебе говорю. Он ведь без ума. У него ум весь на дне бутылки. Весь ум пропил, лядащий человек...

– Ничего, баба Анна. Умный проспится, дурак никогда...

– Вот видишь. Он знает, он все знает! – гордовато возвысил голос Гаврош, качнулся, но с крыльца не упал, а спустился достойно, долго нащупывая ступени клешнятыми босыми лапами, разбитыми на лесовой работе, изнахратенными резиновой обувкой и долгой ходьбою на охотах. Чего говорить, работа у егеря – не сахар и не мед, а платят за труды, как инвалиду. Лось сошел ко мне, настоящий лось: и сторожкими повадками, и сухим узловатым, без мясинки, телом с длинными жиловатыми руками, обвитыми темными жгутами налившихся вен. Головка у Гавроша маловата для долгого тела, но слеплена красиво: горбоносая, с синими пронзительными глазами, сейчас от хмеля наглыми и клейкими, в которые нестерпимо было заглядывать. Тонкие губы сквасились в усмешке, словно бы егерь задумал совершить какую-то гадкую козюлю, в уголке обметанного черною щетиною рта прилипла постоянная махорная сосуля, изрядно отмокшая, словно бы присандалил однажды на суперклей, да с этим окурком и живет...

И почему Гаврошем обозвали русского человека, никто в Жабках не знает; приклеили ярлычок, пришили этикетку, да с нею и ходит мужик, хотя того разбитного кудрявого парнишку, что шлялся по Парижским баррикадам, рискуя жизнью, и каким мне представлялся французский герой, наш лесовик мало чем напоминает.

– Вот, мать, смотри, это – не простой человек. Это я – пьянь, а Павел Петрович – ученый человек. У него ума палата.

У бабы Анны суровое, изрезанное морщинами, тяжелое лицо, напоминающее лицо известной московской актрисы, что играет деревенских вдов. Анна свысока оглядела меня и, не найдя ничего достойного, подвела итог:

– Два кнура обкладенных. Бобыли, тьфу... Все добро-то сквасили. На что годны-то, шатуны?

– Ну будет, бабка, тебе скрипеть. Как телега несмазанная...

– Ты меня сначала сделай бабкой-то. Сидишь у печи, как волк под луной. Все свисло, и краном уже не поднять.

– Все на мази. Да мне только пальцем...

– Только пальцем и осталось, – язвительно сказала старуха и ушла в избу. Гаврош как-то растерянно посмотрел на меня, будто только что увидел, и сказал смущенно:

– Да ну ее, дуру. Чего с нее взять, верно, Паша? Бабы никак не поймут, что без нас, пьяниц, у них и пенсии бы не было. Мужики пьют, вот и деньги у государства. Сидели бы без нас – зубы на полку. А мы здоровьем рискуем, жить старикам даем.

Гаврош нервно отцепил окурок с губы, запалил свежачка, выдул клуб дыма на меня. И так ловко, нахал, прямо в лицо, хотя на голову выше. Я закашлялся, Гаврош засмеялся:

– Дым полезен, шашель не заведется...

Мужик поплелся на лавочку, высоко приподняв плечи; косицы темно-русых тяжелых волос, стекающих по шее на загривок, походили на конью гриву. Мослы корявых тонких рук, прямые безмясные плечи и желваки, хребтины, выступающие даже сквозь майку, говорили не столько об изношенности человека, но о полном безразличии к себе. Нет, это далеко не старуха Анна, что и войну перемогла, и горячего в гневе мужа, и деревенское вдовье житье, так и не впад в уныние, и вот понукаемая бесконечной нуждою, что царюет нынче в русской деревне, когда новые горя волчьей стаей кинулись терзать крестьянина, она не поддавалась печали, но

держит и дом, и двор, полный скотины, и несчастного сына терпит и будет упрямо тащить на плечах до самой могилы.

Уж когда старуха затворилась в избе, а раскатистый гул ее голоса, отразившись от заречных боров, только что вернулся водою обратно в Жабки, и не снижая мощи своей, никак не желает умирать. А может, в моей головенке такой переполох, мозга с мозгою пошли на сшибку?

Гаврош, заикаясь, бунчал себе под нос; у трезвого слова не вытянуть, но пьяному рот не зашить, всю бы ночь говорил, никому не давая спать:

– Нет-нет, вам Бога не обмануть. Он хоть и высоко, да у него глаз – алмаз. У него глаз охотника. И у меня... Я белке – в глаз, если захочу. А вам Бога не обмануть. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет? Это как сказать. Это как посмотреть еще. Дураки! На фиг мне? Я знаю, кому сколько жить. Сколько я назначу, столько и будет жить. – Гаврош тяжело плюхнулся на лавочку под ветлою, обвел деревню рукою, словно пересчитывая избы, уставился в прогал улицы, в поросшую рябинкой и конским щавелем сиротскую пустошь перед церковью. – Меня охотовед было точить стал. Что ни сделай собаке, ну все не так. Издевается, значит. Ну я терпел, да. Потом говорю: ты меня не точи, а то помрешь. А он засмеялся, нехорошо обозвал меня. Ругатлив был шибко. И третьеводни помер. Меня, Паша, ругать нельзя, я опасный человек, – Гаврош угрюмо хохотнул, прикрыл ладонью рот, чтобы не показывать зебры. Вот, вроде во хмелю, а стеснительный. Зубы у него худые, росли вкось-вкривь, которые уже и свелись до корня, и мужик стеснялся своего недостатка.

Мать Анна постоянно попрекала: «Артём, голова ломтём! Я старуха старая и то железные себе в пасть вставила. А за тебя, такого уroda около того, какая девка кинется? Кашкой манной кормить?» – «Мать, я мясо глотаю, не жуя. На кой мне зубы?..»

– И вот я проглотил оховеда, не жуя. И не подавился. – Гаврош взглянул на меня в упор страшноватым взглядом и, заметив мое смятение, приобтаял лицом, решительным взмахом приоткинул седеющую челку, открыл высокий узкий лоб. – Послушай: на гувне птички поют, а на душе кошки скребут... На гувне собаки лают, а в избе детишки грают... Как-нибудь принесу тебе свои стихи. Почитай... – Гаврош принагнулся, пошарил слепо в подножье ветлы и в расщелине обнаженного узловатого корня, приобсыпанном древесным прахом, отыскал бутылку и сосудец. Налил всклень:

– Будешь?.. И не надо... – Выпил залпом, замотал головою, как будто принял добровольно смертельную отраву, ущипнул стебелек пырея, зажевал. Столько и закуски надобно ему. И очнулся Гаврош, и уже осмысленно посмотрел на меня.

– Знаешь, с Пасхи пью – и ничего. Никакой карачун не берет, – сказал хвастливо, блудливая усмешка искривила губы. – Русских нельзя перепить, а значит, нельзя и убить.

– Не хвались, едучи на рать. Добрым бы чем похвастал, Артемон...

На миг у ветлы воцарилась тишина. Гаврош, наверное, перемалывал мой упрек, раскручивал заржавевшие от пьянки шестеренки в голове, чтобы наострить разговор. Я же с удивлением поогляделся, словно по чьей-то причуде впервые угодил в Жабки. Вроде бы из просторного рукава зипуна Господь вытряхнул на землю горсть изобок, и они натрусились беспорядочно, кой-как, но все же всякое житишко норовило поближе прижаться к Проне, сунуться поперед соседей, не боясь половодья. По веснам с верховых боров в реку устремлялись звонкие ручьи, они-то и размыли навечно единственную улицу во многих местах, и эти водомоины, не просыхающие даже в июльскую жару, делали деревню вовсе непроезжей. Как бы нарочно, Господь перекроил наволочек, разбил селение на хутора, чтобы люди не грызлись, но из-за скверного характера жили осторонь. Хоть и Петровщина ныне, но если и затеется где гулянка, то в своем куту, и там соберутся лишь свойские, того гнезда насельщики, а всякого стороннего еще издали приметят и станут гадать, кого несет нелегкая.

В старину дорогу-тележницу обихаживали, в промоинах и по сей день торчат пеньки, похожие на гнилые зубы, кой-где брошены осклизлые позеленевшие плахи для пешего люда.

Когда пустошится деревня, то в первую очередь пропадают дороги, а после уже стервенеют жители. И хотя ныне завелось машинешек, как гнуса, но никто не почешется, чтобы навести в Жабках порядок и облегчить себе жизнь. Старикам – не надо, а молодым – наплевать; кабы само собою все устроилось. У всякого надежды на Бога и авось: они вывезут, не дадут бедному пропасть.

Из двора Горбачей вышел Фёдор Зулус, сейчас похожий на кентавра. Он нес крышку гроба Славке-таксисту, водрузив ее на голову, как диковинную шляпу. Тесовую крышницу слегка парусило ветром с реки, и мужика заворачивало, как флюгарку; но Федор – мужик костистый, остойчивый, на перекуры время не терял, но все выглядывал на дорогу из-под шатерка, шмурыгая висловатым носом, как лесовой ворон над падалью, и настойчиво, чтобы не марать обуви, наискивал сухого пути.

– Когда могилку копать? – вскричал Гаврош, но Фёдор навряд ли слышал егеря, потому что спешил исполнить последнюю волю покойного. – Говорил ведь Славке: не пей, Слава, до посинения, помрешь, какой организм справится? Пожрать любил. У него сала на брюхе было, как у кнура, в два пальца. Какое тут сердце сладит? Вот и лопнуло. Нет, жрать – дело поросячье...

Я не отвечал, отворотясь от Гавроша, чтобы не чуют густого перегара. Да тому и не надобно, чтобы отвечали: есть возле живая душа – и ладно. Хорошо бы противогаз иметь на такой случай, с тоскою подумал я, речи соседа сверстывая на свой счет. Вдруг песенка родилась в голове, заунывной паутинкою выткалась над переносьем иль в лобных пазухах, будто там запустили старинный патефон, такой когда-то стоял в переднем углу под иконою в родной Нюхче – единственная примета отца. Мать вспоминала: вернулся с трески и привез с Мурманского домой этот музыкальный ящик. На, говорит, баба, пляши. И до сей поры плачу, да пляшу...

«А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад».

Да как некогда-то, братцы мои милые, оглянуться; понапрасну ведь, вовсе зряшно проживаем нашу жизнь, торопим ее, погоняем в ожидании лучшего дня, а ничего не случается, новее плесневеет вокруг, тухнет, покрывается сереньким склизким налетом. И чего сижу, маюсь бездельем, словно бы с нижнего конца, из этих таинственных палестин, принакрытых янтарными зыбкими пеленами, явится ко мне нечаянная радость, и жизнь мою случайную осенит до последних сроков.

Зулус уже вернулся за ящиком и снова молча миновал нас, волоча домовину на плече. Гаврош проводил его презрительным взглядом, как надоедную муху, сплюнул чинарике губы: – Зулус идет и горя за собою ведет...

И снова я не ответил, не спуская очарованного взгляда с облитого червонным золотом наволочка, густо обросшего жабником. Под жарким выцветшим небом краски сверху как бы пролились на землю, и эта луговинка, вообще-то ничем не примечательная, сейчас выглядела зазывной, обавной, ласкающей глаза; земля, покрытая лютиком, была похожа на перину в пестрой наволоке, сердечно взбитую бабьими любовными руками. Бери сердешную утешливую подружку, да и скок в эту парную зыбкую глубину, как в морскую волну; и жабник подопрет тебя корявыми упругими столицами, как пружинный матрац, и начнет мерно колыхать от земли к небосводу.

Но я-то хорошо знал, что вид поляны обманчив, как зачастую бывает обманчива всякая красота. Как обманчивы благодать и благополучие мирно текущего дня; как обманлива воспаленная ярь летнего, чуть присыпанного туском июльского солнца, – все в мире несет в себе скрытый предательский замысел, являющийся вдруг изнутри, из самой сердцевины любого явления, выгрызающий самые добрые намерения, как яблочный червь. Хотя у яблока всегда есть проточинка, следок, наружная хворь возле черенка, скверное пятнышко. Значит, и у предательского замысла есть наружное предупреждение, которое обычно трудно распознать: оно замаскировано хаосом событий.

Логические, созданные умом человека системы неумолимо таят в себе сбои, которые, если не предупредить по недостатку приобретенных знаний и по самоуверенности, то надобно предугадывать на мистическом уровне, как крыса чует о гибели своей товарки где-то за сотню верст. Собственно, об этом и была моя кандидатская, почти безумная и бессмысленная работа для многих, полагавшихся на глубокую основательность и осмотрительность соцсистемы, а нынче скинувшихся под самого Господа Бога.

Помню, как нас убеждали, что мирный атом, изученный будто бы во всей полноте, не таит в себе вражды, а если и несет коварный умысел, то доля его так мала (примерно одна миллионная), что учитывать сбой или особенно страховаться без нужды и сверх меры, а значит, и загонять себя от страха в угол нет смысла. Ибо этим взвинченным, мистическим, почти безумным страхом можно легко залучить себя в угол и кончить свои дни в палате сумасшедших. Но я убеждал, что этой миллионной доли вероятности, коли мы залезли, не смутясь, в самую сердцевину природы, может хватить, чтобы свести все человечество к нулю, ибо беда может постучать в ту самую секунду, когда мы произносим праздничные речи о прирученном атоме. И чем меньше доля вероятности риска, тем страшнее он, ибо человечество размягчено отсутствием беды и не готово к ней. И еще я убеждал, что если из сердцевины атома вызволили наружу необычайную энергию, то в природе есть и средство, чтобы свести на нет ее последствия (облучение и т. д.). Ибо всякому действию есть противодействие. А без средств к противодействию мы невольно стали заложниками ученых, их косного самовлюбленного ума и безрелигиозной немилосердной души.

И случай с Чернобылем, которого никто не ждал, лишь подтвердил мои опасения. И когда в прессе сообщили, что погибли пятнадцать человек, я уже предчувствовал, что от облучения умрут миллионы...

Значит, и эти сбои, что возникают в мире, как гроза в январский настуженный день, укладываются тоже в свою систему, уже почти неподвластную нам. Ибо душа человеческая в своем развитии далеко отстала от соблазнов любопытного ума и уже не в силах руководить им. Человеческий огрех, каверза, злой умысел, даже плохое самочувствие и настроение, самым неожиданным образом сверстываются в один прочный союз с самоуверенностью ученого, с его бездуховным умом и вызывают трагедию в минуты полнейшего спокойствия. Об этой системе сбоев и будет моя докторская, для которой я, как мураш, тащил каждую соломинку факта пока лишь в общую холмушку, чтобы после раскидать по нужным каморам.

И сон нынешний был неслучаен; пусть и в видении, но я же убил человека, и это мое глубоко угнездившееся желание должно было каким-то образом внедриться в цепь событий, о которых я пока и не помышляю. Сегодня выстроится она, завтра, через год?..

Почему именно Фёдора Зулуса, которого я и видел-то несколько раз, я вдруг лишил жизни, не имея от него никаких обид? Может, с той стороны, где ветер с реки вольно шерстил цветущую поляну, гоняя золотисто-голубые волны, и придет ко мне неожиданный ответ?

Сразу за луговиною маревило чахлое, как бы подгоревшее споднизу, чернолесье с кабаньими запашистыми подкопами и лосиными лежками-кругованами: значит, сырь там, водянина, болотные тягуны и чахлые укромины, нетревожные для опасливого зверя.

Из этой-то сыри и выткалось вдруг порхающее облачко, а после нарисовалась тургеневская барышня в соломенной широкополой шляпе с голубою лентой; розовый сарафанчик с приспущенными бретельками чудом держался на груди, и по худеньким плечам полоскалась тяжелая каштановая волосня.

— Кто это? — зачарованно спросил я.

— А это не для тебя. Это Танька Горбачева вчера с молодым мужиком наехала. Зулуса дочь... А я если захочу, будет моя... — Гаврош осклабился и закричал. — Танька, без мужа в лес не ходи. Кабаны сожрут...

– Артём, голова ломтём. Ты их на вязке держи, – обрезала Татьяна и, перепрыгнув промоину на дороге, скоро исчезла в своем доме.

– Отобью, видит Бог, отобью. Ляжки – сахар, титьки – мед, кто имеет, тот... – Гаврош цвиркнул слюною, но в подробности не ударился.

– Раньше надо было хороводить. Молодые девки пьяниц не любят, – с неожиданной для себя ревностью перебил я, словно бы на эту Таньку имел неотъемлемые права.

– Много ты, Паша, понимаешь... Раз сказал отобью, значит, отобью. Мое слово – закон. У меня все схвачено. Много людей на миру, а все, как осенние мухи. Только жужжать да кусаться исподтишка... – Гаврош проводил взглядом девушку, но тут же и позабыл о ней. Я молчал, а сосед, норовя втравить меня в бесконечные разговоры, все сыскивал новых сюжетов, по каким-то крохотным приметам отыскивая для себя повод. Уж на что я, так искушенный в говорильнях человек, даже имеющий от этого свой хлеб, никогда бы не мог догадаться, куда в следующую минуту увлечет Гавроша. Он снова приложился к стакашку, но лишь пригубил аккуратно, чтобы не пролить, поставил возле себя и ласково погладил граненый бочок. – Водочка никогда не подведет. Она человека держит, пока не свалится с ног. Но и в том, что валится он, к примеру, как свинья, нет вины в вине. Как говорил один святой человек: «Истина в вине». Жил такой Серёжка Есенин, вот такой парень! – Гаврош показал большой палец. – Наш мужик, рязанский. Выпить любил, это да. Ну и что? Зато великий поэт. Это он писал: «Принесите мне автомат, я хочу прикончить этого человека»... Паша, ты умный человек, я тебя уважаю. Ты скажи мне... Может, я чего-то не так понимаю? Вот пришли к власти воры, а мы, русские, дураки. И никто не взял автомат. И мы их терпим. Один с сошкой, тысяча с ложкой. И все вот тут, вот тут, – Гаврош со скрипом потер шею. – Скажи, Павел Петрович: почему мы их терпим? Вот был Жирик, человек эпохи, обещал всем по бутылке и по бабе. Мы клюнули, пошли за ним – и ни фи́га. Был Горбач – человек эпохи, лучший немец, обещал каждому по квартире и гробу и обманул. Был этот Ельцин, самый серый и самый наглый человек эпохи – и снова ни фи́га. И вот пришел Путин – приемный сын Ельцина, каждый день чего-то обещает и на другой день зачеркивает. И с таким видом, будто у него все время понос. И все терпят, терпят, потому что принюхались, потому что сами трусы и дерьмо. А я, Паша, коли возьмусь за ружье, у меня все встанут по струнке. Я по-другому не умею. Я только «цыть!» – и все. Я, Пашуня, человек слова. У меня все схвачено, у меня везде свои люди. Только кликнуть. Вот скажи: чем тебе помочь, может, тебя обижают? Я позвоню сейчас и ко мне примчит братва из Москвы. Ребята крутые, слов на ветер не бросают. Я, Паша, никогда не пропаду. Я хоть и дурак, но умный, зараза, у меня все схвачено. А ты к Таньке не вяжись.

– А с чего ты взял? – невольно смутился я. – Девчонку вижу впервые... Нет, второй раз. Припоминаю, ей было лет восемь, у нее были задорные, навроде козжих рожек, косички и лупастые смешливые глаза...

– Все помнишь, а притворяешься. Круть-верть. Хочешь всех обмануть? Никак не пойму, Паша, чем ты занимаешься? Ну где деньги берешь, капусту рубишь, бабки делаешь. Служить не служишь, все лето груши околачиваешь, а при чем-то состоять надо? На-до...

– Да так, – отмахнулся я, чтобы отвести от себя разговор. – Ерундой занимаюсь. Наблюдаю, кто как с ума сходит и кого что ждет.

– И за ерунду хорошие деньги платят?

– По мелочи... Но с голоду не пухну.

– Ну смотри, – угрожливо пробубнил Гаврош, едва совладал с немеющими губами. Движения его стали вялыми, ватными, беспомощными, словно бы все тело развинтилось и едва держалось на болтах. Но из стакашка допил, сосудец тут же выпал из ладони в опаленную солнцем траву и не разбился, а закатился в тень под скамью. Гаврош наклонился, тупо поискал посудинку, а не нашаря, скрутился на лавке в комок, заняв удивительно мало места, и уснул.

4

Как и нагадала мать, мой сон оказался в руку.

Ночью из ничего вдруг скопилась гроза, под утро выполоскало дождем.

Я не спал, полный какого-то радостного ожидания; словно бы я, великий немой, должен был назавтра заговорить. Так было обещано свыше.

И вот, сидя у распахнутого окна, под тонкие всхлипы и прихрапывания матери, спящей в шолнуше за ситцевой занавеской, я с надеждой вглядывался в мрак шумной грозовой ночи, которую всеильный сапожник вспарывал огненным ножом и с треском раздергивал на портища, и в этом разъеме невидимыми небесными руками торопливо меняли театральные декорации, которые я не успевал схватить глазами полностью. Они были причудливы, как замки Средневековья, и аляповаты, как католические соборы, тут же в прах и превращающиеся в клубы багрового дыма. И торопливо задвигалось небо, по аспидной плите чертили раскаленным алмазом, рассекая гранитную плоть, и с неожиданным грохотом сыпались на грешную землю огромные раскаленные булги, опрокидывались кадки с водой, чтобы залить их.

«Ах, как хорошо!» – мысленно восклицал я, утираясь от дождевой пыли, восхищаясь очистительной литургией со звонкоголосыми клирошанами, басистым дьяконом и тенористым батюшкой, махающим перед моим носом то кропильным веничком, то кадильницей с тлеющими запашистыми угольями, рассыпающими шипящие, скоро угасающие искры. Но от этих искр в стороне кладбища вдруг загорались блуждающие огоньки, вспыхивали голубые сполохи, кто-то мятущийся в белых пеленах подымался из разъятой земли и торопливо направлялся ко мне навстречу.

«Боже мой, как хорошо-то!» – Не однажды повторял я чужие слова, сказанные до меня многожды, может, и миллионы раз, и многожды запечатленные в романах, и всегда свежие, новые, волнующие, просительно-тоскующие, единственно верные в ночи, растерзанной очистительной грозой. Бывало, покойный сосед Тихон Баринов тоже не сыпывал в подобные ночи, а покуривая на лавочке, при каждом грозовом раскате повторял весело: «Были бы дождь да гром, не нужен и агроном».

Моя же тетя Палага в Нюхче в грозу обычно выскакивала на улицу и со счастливым отрешенным лицом встречала каждую молонью, летящую ей навстречу, и подставляла грудь, выпрастывая ее, неистраченную, из-под сорочки, словно бы встречала Духа Святого, ниспосланного Господом для ее тоскующей утробы. Смешная была эта тетя Палага, честное слово. Она бегала зимою на лыжах в Вологду за триста километров, только чтобы посмотреть на чудо-трамвай и прокатиться на нем. Вот и мне каким-то непонятным окольным путем передалась ее натура, словно бы я и выпал из ее чрева, однажды осчастливленного небесной молоньей...

И вот ливень так же неожиданно прекратился, прояснился сосновый бор на кладбище, тускло нарисовался глянцевый угол соседней изобки. С яблонь в саду капало гулко, весомо, с протягом; словно бы отлитые ружейником пули отрывались от шиферной крыши и шлепались в полное нутро бочки, выставленной под потоку, чтобы остыть там и обрести заверченный вид. И в лад дождевой капли последние ошметки тревоги сползали с помолодевшей души, обнажая в ней хмельную пустоту, готовую для грядущей радости. Нынче я заговорю в полный голос...

В полдень на плечах пронесли на кладбище Славку. У него было острое желтое лицо, странно выхудавшее за двое суток, носик пипочкой торчал из гроба, и ничто не напоминало прежнего румяного, зычного, нагловатого и доброго водилу. Жену его, мешковато оплывшую в руках родичей, почти пронесли. Потерявшая хребтину, она превратилась в грудку костей, небрежно завернутых в тряпье; черные волосы покрывцем сбились на лицо; баба уже не выла, а курлыккала горлом да изредка надсадно вздыхала. Она, может, и зря так надсаживала себя, но,

принявшись выть по обычаю, уже не могла остановиться, хотя еще намеревалась сулила мужу всяких горестей. Ведь Славка, стервец, прикатил в Жабки на один лишь день, чтобы, вернувшись в столицу, тут же отправиться с любовницей в Турцию на благословенные пляжи Анталии, с такой любовью воспетые рекламными зазывалами.

Братцы мои, откуда вдруг приходит к человеку эта слезливая умиленность, когда душа, внезапно возрыдав, вроде бы без особой на то причины, по воле чужому человеку, ну никак не может успокоиться; и так горько тогда в груди, так невыносимо опустело, будто самого близкого кровника провожаешь на тот свет.

Я беспричинно заплакал, глотая соленую влагу, слизывая ее с губ, смахивая ее кулаком с лица, стыдясь своей слабости, невольно отстал от похорон, сбился в сторону, за соседние могилки, за широкую розвесь запашистого малинника, источающего после дождя запах медового сиропа. Так ребенок скрывается от взрослых, чтобы в одиночестве пережить глубокую обиду, которую на людях невозможно перетерпеть.

Зажимая в себе стенания, чтобы не завывать по-бабьи, переполненный необычной тоской, я плакал по себе, оплакивал себя, уже погребенного, впусе прокочевавшего по отпущенным Божиим благословением дням. Теплая река жизни сулила мне по рождению столько благодатей, по-доброму приняла меня в свое бархатное лоно и понесла по течению, но оказалась, по несчастью, запруженной гадами, тварями, пираньями, пожирающими меня, еще живого, кровоточащего, не утратившего последних мечтаний. Я плакал, что Господь меня обманул, оставил на росстані меж трех дорог и своим молчанием, своим попусшением подтолкнул в неверную сторону. Если ночь я коротал с сухими очами, вглядываясь в грозовой мрак, полный ожиданием радости, то живительная влага, излившаяся на землю и наполнившая меня всклень, сейчас, промыв душу, утекала прочь, вынося нажитые яды... Я рыдал и никак не мог унять слез...

По заведенному в деревне обычаю покойника закопали на рысях. Еще людской ручеек, виваясь вокруг холмушек, не влился весь в ворота, не обмелел и не иссяк, а Фёдор Зулус, обрывая чавканье ног, взял прощальное слово: «...Он не ездил на машине, он летал, такой отчаянный шоферюга был наш Слава... От Бога водитель, честное слово. Мы до четырех утра сидели накануне, перед тем, как ехать ему, говорили за жизнь. Я говорил: поспи, отдохни. Он сказал: “Тороплюсь”. Он боялся погаснуть, он горел. Прощай, братан, встретимся в раю. Дороги тебе без кочек и ухабов. Всех скоростей тебе без запретов и ментов, и никакой гаишник теперь тебя не остановит...»

Народ зажидился, захлопал, взвыла жена: Славка повиделся ей чистеньким и совестным, светлее зеркала; все огрехи вдруг смылись в ручьях слез пред той жутью, что открылась перед вдовою. Будто не в яму захоранивали благоверного, а скидывали торопливо в пропасть, полную смрада и стонов. Гаврош нетерпеливо переминался на песчаной покати холмушки, подпирал плечом деревянный крест и ждал команды. Он никогда не провожал на кладбище, не терпел этих прощальных стенаний, вынимающих душу, и меня несказанно удивило, что егерь удостоил усопшего такой чести. Песок отекал под ступнею, и, сердясь на возникшую заминку, Гаврош воскликнул в сердцах, видя, как жена прикинула к покойному, распустив волосы на остывшее, неряшливо заштопанное и припудренное лицо с синяками под глазами:

– Ага, он в рай захотел. А в ад не хошь? Всех туда – в один котел. Все-ех! – сказал зловеще громко, будто прокаркал. – Жизнь на бабу променял. На дырку. И, эх! – Гаврош, наверное, хотел сплюнуть, так мне показалось, но тут нога его подвернулась, и мужик мягко так съехал в яму, вырытую своею рукою. – Ну, ексель-моксель! – удивленно воскликнул Гаврош, вытупляя синие глаза, и вскинул в приветствии руку. – Подравняйся за мной, и все шагом марш!

Мужики выдернули обалдуя. Зулус дал под зад пенделя, посулил живьем закопать.

Дальнейший ход событий я не стал наблюдать. Гаврош сбил слезливый настрой, и сейчас хотелось дурашливо смеяться, будто меня подняли вниз головою и все горестное, страдательное вытряхнули из груди, как шелуху. Я отправился с кладбища кругами, как бы проверяя

недавний сон, прочно увязнувший в голове. Видение это столь глубоко укоренилось в сознании, что превратилось в правду.

Случается же видеть во сне давно усопших, они приходят к тебе из Зазеркалья, из страны мертвых, не спросясь, безо всякого дозволения иль зова, и ведут себя, как живые; бывает, что и с портрета, висящего годами на стене, как бы «отклеивается» родимое лицо и начинает вести себя вживе: говорит, улыбается, моргает, смущается, гневается, словно на телевизионном экране иль в распахнутом окне. Наверное, сон добавляет повседневной жизни в давно потерянное тобою, утраченное, отвергнутое по какому-то пустому поводу и вовсе без повода, но то существенное, что дополняет и украшает тусклое существование и делает его многозначительным. Сны дают богатство духовной жизни, в них много от предвидения, только во сне простой смертный может общаться с Богом, испрашивать у него совета и даже летать к нему в гости в райские кущи. Да-да, и такое случается с добрыми христианами на Руси, но мне, худо приткнутому к Господу и разлагающему материю на тончайшие волоти, не достается такого сокровенного волшебства. Я живу по системе сбоев и не сыскал покато́й Кошечевой иглы, разломав которую можно наконец-то удобно и не так болезненно устроиться в мире...

Помню, как в день смерти навестил меня Василий Макарович (а я еще не знал, что он уже мертв), и мы так душевно и искренне общались более часа, а проснувшись, я помнил сказанное, кажется, дословно, будто оно было выцарапано иглою на особой извилине мозга, как на платиновой пластинке. Эх, кабы догадаться мне тогда и записать разговор, но слова Шукшина так отпечатались в голове, что, казалось, никакими суховеями их не иссушить, не выдуть и не истереть в прах. Но увя... Почему именно ко мне прилетала душа писателя за тыщу верст – к провинциальному незнакомому студентушке, – не объяснить, как и не объяснить перерождение фотографии в живое лицо...

Славку закопали... Я еще спускался по дороге с кладбища, отыскивая под ногами какие-то особые неясные приметы, а у могилки уже послышался хрустальный перезвон и воспаленные голоса похоронщиков. На торфяной болотине, в низинке, я увидел вдруг ясные отпечатки резиновых сапог, левый каблук раздавлен накомь, как бывает у колченогих и сильно хромящих, с мозолью на пятке. Следы вели на другую сторону ручьевины, в камыши, в чернолесье, в угрюмые ольшаники, в бородавчатые папоротники, где всегда сырь и влажная прель. Если подняться на хребтинку за тягуном и скатиться чуть влево, в дремучие ельники, тотам, на границе домашнего болотца, в пахучей лесной дураве и брусничнике, я, конечно, увижу примятую круговину, будто здесь таился горестный лосенок, только что потерявший свою матуху. То и будет слепок моего тела, еще хранящий запах моего естества, невидимые облачки эфира, оторвавшегося от моей энергетической оболочки и скопившегося на листьях заячьей капусты в виде крохотных ртутных шариков, пугающих лесовое зверье...

«Тьфу на тебя, тьфу, поганый!» – крикнул я кому-то невидимому, поднимая в небо лихо-радочный взгляд, но ничего не увидел в белесых прогалах, кроме застывших, сдвинутых на бок зелено-голубых сосновых папах, прирастрепанных ночным ливнем. Голосишко мой, наверное, был похож сейчас на предсмертный вскрик раненного смертельно зайца, коему страх как не хочется помирать, и, волоча изломанные дробью лапы, роняя гранатовые бусины крови, он с детским плачем утягивается под шатры заснеженных ельников.

Я испугался, что увижу себя там, и круто свернул к деревне. Жабки таились в осотной траве, как клещи в шерсти. Иногда ветром продувало улицу насквозь, и, будто в белесом проборе на медвежьей полости, раздвинутом рукою, мелко виделись блуждающие праздничные люди, пролысины огородов, отороченные частоколом, узкие палисады перед избами и раскидистые облака ветел со снулой от дождя листвою.

Возле мелкого пруда (все, что осталось от бывлой речной заводи) сидела девица, неудобно, боком прижавшись к морщиноватому древесному телу, словно бы сыскивая узорчатую тень погуще, она усаживалась ненадолго, чтобы вновь убежать от солнца. Цветастый сарафан был

вольно задран, открывая шоколадные тугие бедра. Рядом с ней сутулился Гаврош, перебирая резиновыми сапогами по травяному клочу, зычно улещал девицу:

– Слышь, Танька, ты только скажи, да. У меня все схвачено, ексель-моксель. Может, тебя кто обижает, дак ты скажи...

– Что ты, Артём. И никто меня не обижает. Меня обидеть – дня не прожить, – срывающимся от внутреннего напряжения голосом отвечала девица.

– Нет, правда. Ты только скажи, – настаивал Гаврош, и глаза, почти трезвые, сияли при этом ослепительно, как полевые васильки в созревающем житием поле.

Мужик отчаянно хватался за сухую, провисшую почти до земли ветвь и сучил ногами. Глядя на изогнутое тело Гавроша, я понял, что он боится лишиться спасительного сука, чтобы на виду у Татьяны не попасть в смешное положение. Гаврош колыбался, как былинка на ветру, и в глазах его, пронзительно голубых, жила легкая идиотская усмешка смертельно пьяного человека, стоящего на краю бездны.

Как странно устроены эти земляные люди, легко путающие тризну со свадьбою, кому на похоронах постоянно хочется петь, а на гостёбе угрюмо молчать или беспричинно рыдать, утирая кулаком слезы.

Дом Славкин, в четыре окна, стоял невдалеке за прудом, бесцветный, облезлый, как старый одер, с плешинами на крыше и заплатами потрескавшейся толи на хлевной сарайке, срубленной отчего-то не по-людски, почти вровень с избою, с выметанной холмушкой парного навоза, от которого далеко струил сладковатый аромат. Сама изба носила следы временности: хозяйке новить житье было не по карману, а покойному Славке – без нужды. Гулебщики как-то скоро помянули товарища, а увидев, что водка у старухи прикончилась, живо снарядили гонца за бутылочкой винца и сейчас раскатились по траве, как убитые на поле брани. Иные бестолково горланили, перебивая друг друга: «Ой, да что там, Вовка, ну тебя в м... Славка-то был человек эпохи. Про него дурного ничего не скажешь. Сладко ел и сладко пил. Умел жить. Не нам чета».

Кто-то глухо возражал ему, а может, и поддакивал мокрым басом, но я видел лишь бугроватый заветренный лоб и детскую панамку. Я смотрел из-за ветлы, как из-за сумрачного задника сцены, украдкою, воровски наблюдая действо, и уже почти любил случайную девушку, мучительно завидуя обладателю ее. Может, она и заметила меня и потому стала усердно тереть ногтем в рисовальном альбоме.

– Поди, Артём, поди, давай, – ласково увещевала девушка. – Тебя ждут, а ты тут ошиваешься без толку. Без тебя народу скучно. Иди, развесели. Песенку спойте, а я тут послушаю. Издалека так все красиво, без перегара, чисто. И даже пьяные вызывают улыбку. Не дыши на меня, не дыши. Ступай, Артём, голова ломтём.

Гаврош, глупо улыбаясь, оглянулся и, навряд ли признав меня, послушно потащился к выпивохам, выписывая по шаткой земле кренделя.

– У меня все схвачено, Танюха, ексель-моксель, – бормотал опухшими от вина губами, безнадежно выщелкивая из мятой пачки «Примы» сплюснутую сигаретку, но достать не смог, и выкинул курево в траву. – У меня везде свои люди. Стоит крикнуть – и сразу примчат.

Как ни странно слышать сие, но мир без соглядатаев не стоит, каждый крохотный сюжет, что завязывается ежедень на просторах страны, как бы ты ни скрывал его, ни затаивал, был кем-то замечен или уличен, значит, во всяком деле есть свидетели, до особой минуты невидимые. Сыщики хорошо знают подноготную человека и при случае почти всегда находят «любителя замочной скажины».

Я из-за плеча всмотрелся в альбом, ожидая увидеть седой ковыль, куртинки крапивы возле заброшенных колодцев, солнечное полцо жабника, притаенные подслеповатые избушки, похожие на камни-одинцы, рухнувшие с небес, крохотное зеркальце воды в зеленой ряске и рыжую лягушачью мордашенцию, глазеющую из травяной повители. Но увидел лишь летящих странных человечков с длинными носами, больше напоминающих грачей, запелену-

тых в темно-синие макинтоши. Из растрепанных ветром подолов торчали блестящие черные камашки с рубчатыми подошвами. А далеко внизу, в голубой некошеной траве, там-сям торчали покинутые родные дворишки, похожие на косматые птичьи гнездовья. Девушка рисовала нервно, порывисто, выхватывая мелки из длинного желтого пенала, чиркала и тут же скоблила подушечкой указательного пальца, вытирая из бумаги нужный образ. Ей, наверное, хотелось, чтобы люди-птицы ожили и позвали за собою...

Волосы на затылке были зачесаны в мальчишеский вихор, открывая тонкую беззащитную шейку, плечи прямые, острые, и под тонкой загорелой кожей проступал каждый мосолик. Я вдруг смутился, хотел отступить за ветлу, пока не заметили. Мне показалось, что Жабки во все свои распахнутые оконца любопытно и блудливо уставились на нас, уже предвкушая будущую игру. Еще ничего не затевалось, а они уже сплели пошлую интрижку, связали в коварный узел и гадали развязку. «Ишь, наш колченогий-то с бабой замужней связался. Совсем, милый, сбрендил...»

Ну и сбрендил, если того хотите, сплетницы-переводницы, жуйте ядовитые травки, сплевывайте на ветер отравы, насылайте худую оприкосливую запугу, а я вас не боюсь...

От этих нечаянных мыслей я возвеселился, немного захмелел, честное слово, и разогрелся нутром. Подумал, приступая к девице: «Когда женщина молчит – не перебивай ее».

– Подглядывать некрасиво, Павел Петрович...

Голос был грудной, переливистый, но с тонким нервным протягом вверх, словно бы девушке перехватывали горло. Она оглянулась и долго не сымала с меня изучающего взгляда, словно бы хотела рассмотреть меня получше или позволяла разглядеть себя во всей прелести. Глядела задорно, без жеманства, позывая к разговору.

А девица, верно, что была очень мила: улыбчивые припухлые губы с петельками в углах, тонкий пережимистый носик, щеки крутые, как тугие наливные яблочки, и в серых, широко распахнутых, почти круглых глазах порхают серебряные пылинки, вспугнутые солнцем.

– Татьяна, – она протянула узкую ладошку, слегка вялую, влажноватую в глубине, с длинными тонкими перстами, с золотым тонким колечком, протянула гибко, слегка рисуясь, как то делают томные городские барышни, и мне невольно пришлось поцеловать ее руку, придержав ее на весу и как бы взвешивая. – А я вас знаю, но не открою от кого. Говорят, что вы душевед, вы распечатываете сердце и после угадываете судьбу. Скажите, что со мной станет? – Татьяна заломила пальцы. Побелевшая кожа ладони, на дне которой скопилась влага, была густо испещрена тайнописью. Татьяна с такой легкостью и доверчивостью устремилась навстречу, словно бы давно отыскивала в миру себе друга, и вот теперь, случайно угодив на него, боялась потерять. И, торопясь, привязывала к себе.

– Таня... Можно вас так называть?

Она кивнула, во взгляде проступила грусть. Я заглянул в серые, глубокие, чистые воды и не увидел там дна.

– Я прежде действительно гадал, но однажды отступился. Не хочу к дьяволу... После как-нибудь расскажу... Я окончательно распрощался с тремя иллюзиями: что богатые и знатные женщины обязательно красивы, врачи не болеют, а учителя – великие умники, знающие все... И не пытайтесь еще одно заблуждение представить правдою... Таня, вы учитесь живописи?

– Да нет... Я закончила институт старых дев имени бабушки Крупской. А теперь шью да порю. По нынешнему – кутюрье. Ку-тюрь-е, – передразнивая кого-то, певуче протянула Татьяна. – А на самом деле – бедная портниха... Садитесь, Павел Петрович, чего торчать? В ногах правды нет. Это баба Груня так говорит: «Расселася, как старая кадушка». Иль боитесь прикосливых языков? А чего бояться? Вы старый да седатый. А я молодая, спелая, бледная поганка. Одной поганочки хватит, чтобы спровадить на тот свет четверых... мужиков. Вы не бойтесь, не бойтесь, – девица прыснула в кулачок, измазанный мелками. – А почему не бойтесь? – спросила себя с недоумением, вслушиваясь в свой голос, и замолчала.

Тут ветер неожиданно набежал с реки, зашумели камыши, струнулись, поползли по взъерошенной улице голубые тени-отражения каракулевых облаков, листва на деревьях заволновалась, показала в испуге серебристую изнанку. За прудом зарыготали мужики, запотягивались, зная, учуяли свежего винца.

Татьяна, нахмурясь, скребла пальцем ватман, протирала до дыр. На бумажном небе отворилась форточка, показался шуристый глаз и длинная корявая рука с распущенным деревенским кнутом. Это Бог отгонял от рая торопящихся к сладкому пирогу грешников: еще не до конца наследили на земле, а уж пряников печатных подавай. На крыше изобки появился мужичонка и закинул в небо аркан, чтобы уловить крайнего в стае за начищенную камашу.

«Смелая девка, ой смелая...»

Боясь потревожить, я сказал нерешительно:

– У тебя, как у Шагала. Он был витебский еврей и захотел вознестись на небо, как Христос. Но у него мужики и девки летят низко над землею, будто их кандалы держат... Это русские бабы летали к Господу в гости, не спросясь, хаживали по райскому саду и откушивали сладких яблочек.

– Нет, у него люди – тоже птицы, но мясные, – возразила Татьяна. – Они выются вокруг гнезда, боясь с нажитым добром расстаться. И туда хочется, и тут жалко. А чего жалеть? Вот так подумаешь, Павел Петрович, и чего жалеть? – вскрикнула Татьяна, как всхлипнула.

– А чего они у тебя в синих плащах до пят, как новые русские?

– Это я ангелов одеваю. Если ангела сумеешь нарядить, нас, людишек, одеть проще простого. Куском материи окрутил – и ступай... А вы думали, что это мужики в макинтошах?

Татьяна засмеялась заливисто, круто загнутые жесткие ресницы часто запорхали. Я подумал, что нельзя вплотную рассматривать человека: он как бы сразу распадается на части, разбивается вдрызг, и после трудно склеить прежний образ, вернуть личину на место, ибо наружу вылезают всякие, прежде неприметные, изъяны и уже остаются в памяти. Захотелось приотдвинуться, и тогда воздух окутает милое лицо в прозрачные пелены и сотрет то страдальческое, что просится наружу из души.

– Видишь ли, Танечка, я консерватор. Старый гнусный реалист. Для вашего племени «гнусный», – поправился я. В самоуничтожении была своя приятность сердцу.

– Ну какой вы старый, Павел Петрович? Вы сейчас немного походите на Тургенева и даже, – она прищурилась, – слегка напоминаете самого Бога. Вам надо ходить в льняной расшитой рубаше с косым воротом, в синих портах с пузырями на коленях и, конечно, босиком... Или в юфтевых красных сапожонках в гармошку.

– Хватила. С Богом-то меня не равняй, пожалуйста. Вы все в насмешку. Вам всякого Малевича, Шалевича подавай...

– И подавай, а что? – Татьяна задиристо, с вызовом, вскинула лицо. – И Шагала подавай, и Кандинского с Маяковским, и Христа с посохом. Разве он не разрушил иудейское «око за око» и весь мир не поставил вверх тормашками?

– Нет, он попытался стереть с иудеев прах гордыни и честолюбия, чтобы обнаружить райское, а образумил весь мир. Малевич же покусился на Бога. Нарисовал черный квадрат и объявил, что живописи больше нет и красоты в природе больше нет – она кончилась. Безумный, честное слово, безумный... Прекрасную фарфоровую тарелку мира швырнули оземь и давай топтаться на осколках, вопя: вы посмотрите, как безобразен этот мир и в этом безобразии красив!

Я забылся и почти кричал, и в моих глазах Татьяна увидела, наверное, что-то ужасное. Она потухла и увядшим голосом холодно сказала:

– С вами трудно разговаривать. Вы много старше, чем я думала. Вы хотите нас закопать только потому, что мы молодые.

– Ой-ей-ей! Это вы нас хотите зарыть в ямку. Мы для вас – старье, ненужный хлам. А напрасно... Мы еще можем пригодиться.

Может, ветер тому виною, что возник внутренний холод, иль мелкий бус, что внезапно посыпался с небес? Но меж нами вдруг проскочил заяц, разрушил сердечный лад, и надо было срочно разбежаться, чтобы не наговорить дерзостей. Татьяна встопорщилась, потускнела, заострилась лицом, будто ее зряшно обидели. Да и то верно, насел сдуру, как медведь на заблудшую коровенку, и давай ломать. Но мне хотелось, наивному, остеречь девушку; ведь жизнь моя скатывалась под горку, и много шишек я уже набил в дороге. Но девушка, чего я не мог принять, торила по чащобе свой путик и, пробираясь сквозь заросли, верила, что все беды минуют стороной и, конечно, обойдется без больших затрат. Ведь все хвори, ошибки и отгоревшие страсти отпечатываются лишь на обличьях стариков, скукоживая их, как Шагреневую кожу. Молодые молодятся, а старые старятся. И пути их, увы, никогда не пересекутся, как не отпечатается след в быстротекущей воде.

Я поднялся и, прихрамывая сильнее обычного, пошел краем пруда к реке, чтобы постоять на мосточках и успокоиться. Я действительно почувствовал себя старцем. Я трудился, чтобы прикопать умершие годы, а они вновь вставали из могил, как неприкаянные мертвяки, что ночами скитаются по деревенскому кладбищу. Занятый собою, я остановился на хлипких мосточках в две доски, сейчас лоснящихся от дождя, словно намазанных жиром. Сквозь камыши виднелось зеркальце серой с пролысинами света воды, кипящей от рыбьей мелюзги.

Мне действительно стало грустно, нет, пожалуй, скорее, печально, чем грустно, но не от суматошливого разговора, коих в столице случается с десятков на день, но от своей заскорузлости, изжитости; все вроде бы был молод, все сияло впереди, как медная начищенная сковорода, а в какой-то момент потускнело, отодвинулось, оказалось уже прожитым, и ничего доброго не сулилось на горизонте. Сколько раз я вбивал себе в башку, что не надо суетиться, не надо завидовать молодости, ибо твои годы уже прожиты, и, слава богу, не просеялись они зряшно сквозь сито, а осталось доброе зернецо, а этим молодяжкам, что кичатся своей юностью, еще предстоит огоревать грядущие деньки, и как-то они еще сложатся, насколько счастливо – никому не ведомо.

Умом-то я понимал эту мудрую стариковскую правду, но окаянная плоть, эта мерзкая любодейная требушина, еще не отмерши совсем, просила ласк, утех и семейной полноты. Ведь коли без детей прокуковать век свой, то, значит, зряшно пропылил годки свои, без детского голоса и дом мертв. Я вдруг почувствовал такую разницу в годах, такую непроходимую пропасть меж собой и Татьяной, будто из этой нечаянной встречи что-то обещивалось, но окончилось все дурным сном. Как-то так вдруг приключилось, что увидел чужую жену и присвоил себе. Морока нашла и чары.

И вдруг за спиною раздался переливистый голос.

– Павел Петрович, простите меня... Я не должна была так разговаривать. Кстати, а чем вы занимаетесь, кроме душеведения?

– А ерундой... Наверное, ерундой... – Рискую свалиться в реку, я раздвинул камыши, развел ладонью по сторонам густую зеленую ряску и плеснул в лицо. – Работаю над тем, от чего вы бежите.

– Интересно, от чего же мы убегаем?

– От сложностей... А я хочу понять судьбу слова. Насколько Бог дал мне ума. Земную жизнь слова и небесную, его объем и энергию, его рождение и усыпание, его плоть и дух. Если по научному: «Сущностная роль слова в логических системах. Система сбоев как регулятор потока жизни». Это моя докторская.

Мне хотелось похвалиться перед Татьяной, это бес утыкал меня под ребро, и я распустил павлиний хвост; уж коли образиною своей поносной не залучить королевешну в плен, так хоть

смутными словесами обавить, окрутить, а они для женского ушка, как сахарная водица для пчелы.

– Ой, как интересно! – воскликнула, как всхлипнула, Татьяна и пустила голосом петуха. Загнутые жесткие ресницы затрепетали, как вспугнутые. Чего, казалось бы, нашла восхитительного в моих словах, но в загоревшихся глазах почудилось мне обещание. Ну и девки нынешние! Все им не запретно. Ведь окольцована недавно, а как вольна повадками.

– Я часто думала, Павел Петрович... Насколько душа одинока на земле, никто к ней не подкатится с пряником, а все с кнутом, и там, – она взмахнула гибкой рукою поверх камышей, – да, и там, где вечно ей горевать иль плакать, будет немо... И неужели, думаю я, все эти песни, наши споры, голоса зверей и птичек, вой зимнего ветра в трубе, шум дождя и грома так и пропадают, умирают навсегда, не вознесясь в рай? И неужели на том свете – в раю – безмолвно и тихо, как в могиле, и ни один звук не нарушит порядка в горницах Бога? Никто не охнет, не вскрикнет и ничто не скрипнет и не всхлипнет. Это же ужас, Павел Петрович! Это какой же ужас! – Голос девушки сорвался, снова дал визгловатого петуха; сквозь загар пробился румянец, и стала Татьяна столь притягливой, что я спрятал взгляд, чтобы не выдать своих чувств. – Ведь когда человек умирает, его так страшат одиночество и тишина, что обступят его навсегда... Если бы он знал, что там, на небесах, что душа его не будет безголосой, что все шумы земные подымутся вслед за ним, ему бы куда легче стало умирать. Иль я не права, Павел Петрович? Я вам дарю свои мысли. Может, пригодятся?

– Может, и пригодятся. Но вам-то, такой красавице, зачем думать о смерти?

– Да само собой думается. Я где-то читала, что тот, кто не думает о смерти, тот не живет.

– Вы сами указали на сбой в логической системе «рождение – смерть». Хотите еще пример?

Она кивнула.

– Был случай в Петербурге. В нынешнем. Один парень задумал ограбить инкассатора. Может, недоучившийся студент или м.н.с., которого демократы оставили с носом, без куска хлеба. Но ум... виден ум в замысле. Да, все рассчитал. От входа в банк до дома напротив – метров сто. Он пришел в кроссовках. Ну, подъехала машина инкассаторов, первой вылезла женщина с сумкой, а охранник еще дверь открывал. Грабитель, будто бы проходя мимо, незаметно выронил сотенную и говорит: «Девушка, это не вы случайно обронили деньги?» Первый сбой в госсистеме. Замечайте... Она: «Ах-ах, это у меня из кармана...» Нагнулась, чтобы поднять денюшку, и потеряла внимание, на секунду как бы ослепла, да? Парень выхватил у нее сумку с деньгами и – бежать стометровку. Охрана на крыльце банка с автоматами, два мужика с пистолетами в машине. Вороны. Пока хлопали глазами, вор эти сто метров пролетел, заскочил в подъезд с черного хода, закрыл его на замок, а выскочил с другой стороны. Милиция подбежала, дерг-дерг, да куда там... Надо обегать кругом. А знаете, в Петербурге дома старинные, длинные, с загогулинами, с дворами и двориками и всякими закоулками... И вот первый сбой у грабителя. Все вроде бы продумано, а Господь подставил ему ножку. Выскочил парень во двор, там – детская площадка и второпях наткнулся на коляску, опрокинул ее. Ребенок завopil, мамаша заорала: «Чтоб тебе пусто стало, скотина!» Ведь только и сказала, значит, чтоб тебе пусто было. И все задуманное в долгих ночах рассыпалось вмиг, как карточный домик. От одного слова «пусто».

Тут подскочил отец ребенка, вцепился в рукав. И снова – сбой. Парень ведь не шел на мокрое дело, он не хотел убивать, но зачем-то взял с собою оружие. Выхватил пистолет и выстрелил мужику в лицо. И пустился вниз по улице. Баба заорала: «Держите убийцу! Он убил моего Ваню». Услыхал сосед, что прогуливал овчарку, пустил собаку. Пришлось убивать собаку. Мужик разгневался, побежал догонять. Вор обернулся и в запале убил и его. Шла женщина с сумкой, только и сказала: «Что вы делаете, ненормальный?» Не понравилось, что обозвали психом, и тоже застрелил. Короче, всего прикончил четверых и собаку – все невинные,

случайные люди, угодившие на его тропу. Система логически была продумана блестяще, сбоев не предвиделось, удача на все сто. И вот один лишь возглас: «Чтобы тебе пусто стало» разрушил все предприятие. Что значит «пусто»? Это и есть могильная тишина – ад, ничто, темень.

И вот все сбой тоже укладываются в некоторую логическую систему сбоев, это Господь подставляет ножку Сатане.

– Его нашли? – перебила Татьяна.

– Кого?

– Ну, того грабителя...

– Но дело даже не в том, нашли – не нашли. – Мне показалось, что собеседница плохо слушает, меня опалило раздражение. – Смысл в том, что в каждую логическую систему, которая кажется неуязвимой, непоколебимой и неразрушаемой, заложен сбой. И все эти каверзы, подножки и перетыки, подпольные жучки-паучки и короеды, шашели и клещи подпазушные, которых мы клянем, на самом деле есть наше спасение, и нашли они схорон в ядре природы и человеческой душе, на самом донце ее, нам недоступном. И слава богу... Словно игла в голубином яйце... Ищи то, не знаю что, а не разыщешь – быть беде. Но без этого «нечто», кое надо бы предусмотреть при всяком мудрствовании, кое надо прикормить, успокоить или выявить на белый свет, нельзя затевать никакого нового дела. Снова весы. Авось обойдется – нет, настигнет; минует – не минует, судьба – не судьба. И снова цепь сомнений, которая может любого человека свести с ума. Я вот раз десять возвращаюсь всякий раз, выходя из дома: выключен уют или нет?.. Пока не скажу себе: стоп, хватит, еще раз вернешься и уже окончательно замкнешь себя в безвыходный круг. С тобой такое бывало, Танюша?

Девушка странно так смотрела на меня всполошливыми глазами, печально улыбаясь:

– Меня зовут, Павел Петрович. Муж ищет.

Я оглянулся. На травянистой бережине стоял парень и зазывно махал рукою. Я только и успел заметить, что он рослый и волосы – вздыбленным гребнем. Татьяна скинула босоножки и побежала от меня, паруся подолом. Сердечный восторг во мне сразу потух, и я почувствовал себя горестно-одиноким: ну-ко, на-ко, воспарил петушишко с изгороди в небеса и давай победно орать, но не поднялся выше конька крыши – и шмяк башкою оземь, только цветные круги в глазах.

Ведь соловьем заливался, непутня (как бы смешливо осекла мать), сколько слов незатертых отыскал в себе, какую паутину выткал, чтобы опутать красавушку в кокон и залучить в полон.

Я представил себе, как отобедав, улягутся они где-нибудь в прохладных сенях опочнуть на матрасе, набитом свежим пахучим сеном, и Татьяна уткнет прохладный нос свой в пазуху мужу, в реденькую потную волосню, и замрет, щекоча дыханием, пока молодяжку не встопорщит всего.

«Ой, завистник, ну прокуда лешева себе не можешь устроить жизнь, увяз в своих бреднях, так и другим замысливаешь отворотного зелья?»

Да нет, пустое, просто почудилось, померещилось: но если бы не эти кудесы и блазнь, что постоянно навещают бобыля, то как скрасить ту одинокость, что забирает в себя безжалостнее речного омута. Засосет и не выплюнет.

«Чтоб тебе пусто было, замарашкин Пашуня!»

Фу, какая жуть, такого и врагу не посулишь. «Пусто» – это нечто иль ничто? Иль то невообразимое, чего невозможно понять умом, картина запредельная для воображения, ибо во всем, что мы обычно называем пустотою, на самом деле есть иль что-то тварное, иль материальное: свет, предположим, иль тьма. И ад представили христовенькие, и рай нарисовали, и Бога с поясной бородою, и землю, стоящую на китах... Может быть, тогда по-настоящему пусто человеку, когда при живом теле вынута из него душа? Вроде и кровца струит, и брюшишко тоскует, желая мяса, и ногти растут ежедень, и уд вострится в охоте своей, чуя рас-

паленную подругу, но ничто не греет уже, ничто не веселит, ибо в подвздошье, где обычно хранится заветный драгоценный ларчик, заселился изнуряющий космический холод, вымораживающий весь смысл жизни...

Ну, судили того преступника, дали вечной каторги, захлопнули дверь от мира. И в этом тоже есть перст судьбы, спасающий жест Бога, который не отступился от душегубца. Если душа отозвалась на бабий вопль, и человек споткнулся и от грядущего ужаса осатанел, значит, в нем еще не уснуло Божеское, если бы душа вовсе очерствела и пожухла, отступилась от Бога, то вор не споткнулся бы о бабий вскрик, не стал бы стрелять заполошно, а лишь пригрозил бы, и этого бы вполне хватило.

Ведь он не мокрушник, он не хотел проливать кровь, он просто не готов был к преступлению, и оно виделось ему, как забава, игра, навеянная картинками с телевизора, когда с экрана убеждают, что деньги нынче валяются под ногами и живет плохо лишь ленивый...

Боже мой! Смерть на смерть, и все люди случайные, с кем пересекся путь, и на нем мог оказаться каждый из нас, живущих на Руси. Так распорядилась судьба... Он осатанел, грешник, думая в безумьи, что спасется, убивая всех, на кого падет его взгляд. Душа вопила: де, что ты творишь, миленький, опомнись, а в голове – сбой, замкнуло, закоротило, вся скопленная до времени энергия человека истратилась в ужас, и тот внезапный неистовый страх подавил совестное, коренное, что хранил в себе душегубец на крайний случай.

И вот сейчас, где-то в тюремке, то исповедальное, чистое, почти младенческое и сокровенное, уже растоптанное и заплеванное, вдруг разрослось в груди, полезло наружу, язвя шипами сердце, заполнило несчастного, как опара квашню, и, поставив бумажную иконку на нары, молится арестант в одиночке, уливаясь слезьми и мысленно целуя протянутую навстречу руку Спасителя.

Я мысленно облекся в шкуру несчастного и ужаснулся его нелепой жизни, и моя судьба помыслилась счастливой, ибо я снова постиг цену воли, чтобы через мгновение забыть о ней.

Тут какой-то паршивец ради престольного праздника всполз на зыбкий карниз храма и пустил в небо шутиху. Она взлетела вслед за моими расхристанными мыслями, гулко всхлопала, но не расцвела, пустив ядовитый дымок. И Жабки-то очнулись, словно бы встали после скитского сна, и в нижнем конце деревни, где желтым покрывалом цвели лютики, неожиданно взъярилась гармоника и захлебнулась.

За гривкой бора у Прони раздались торопливые выстрелы, столь нелепые в середине лета. Из своей избы выскочил егерь Артём Баринов; семейные сатиновые трусы полоскались по худым жироватым ляжкам, а резиновые сапоги хлопали голенищами по икрам. Гаврош пролетел мимо меня с остановившимся взглядом.

5

Ночью анчутки не дали мне спать.

Хорошо мать моя Марьюшка глуха на левое ухо, и вот, сложившись по-младенчески крендельком, она сладко почивала за цветастой занавескою в своем углу, постанывая и всхлипывая, какие-то видения, знать, навещали больную ее голову, вечно натужно пошумливающую, будто шли внутри большегрузные машины. Синий платочек туго окручен по самые брови, лицо худое, морщиноватое, как древний еловый корень, и седые букольки, выбившись из-под покрывца, слегка шевелятся от ровного дыхания.

Никогда бы не подумал, что так плотно, но вместе с тем и озабоченно, с долгими сонными картинками, могут поживать престарелые люди, все мыслилось, что прильнет бабка на один бочок, едва смежит веки, а уж через часок-другой снова христовенькая на ногах, чтобы зря не нудить больных костей, не бередить их на твердом ложе, да и так-то, миленькие, жалко того малого времени, что осталось пробыть на людях.

Но пристанывала мать столь жалобно, столь надсадно, с близкой слезою, что порою становилось страшновато за Марьюшку, как бы она не лопнула сердцем от жутких видений. Не раз подходил я к спящей, чтобы разбудить, и всякий раз отступался от затеи. И вот в какой-то час, уже полночь, когда расположился на боковую, вдруг мелко затенькало, заговорило угловое стекло, завыло на высокой человеческой ноте, словно бы несчастной душе в это сиротское ночное время затягивали на горле петлю. Я открыл окно – никого, только послышался вроде бы стукоток пяток по задернившейся земле. Может, почудилось? Кто-то горланил, охрипнувши, в ночи, знать, шла пьяная разборка. В притворе храма вспыхивал огонь фонаря, воровски прощупывая темь, раздавался охальный смех блудных подростков, ищущих приключений, без которых и поныне не живет русская деревня. Незабытный пращуров обычай, коему несчетно годов, и каждый слой сеголеток, посетивших сей мир, по-прежнему сочиняет проделки, кому на посмеих, кому на слезы.

Сколько ни кричи после на «проклятущих», сколько ни насылай на них горей, а вернувшись снова в кровать и залучая к себе вспугнутый сон, невольно вспоминают старик или бабка свои отроческие похождения, свои забавы и проказы, за которые точно так же строжили старшие и, не скупясь, потчевали ремнем... Да что сказать в оправдание себе: от храма до срама – один шаг.

Мать простонала в своей спаленке и явственно сказала: «Трещина подо мной в земле». Я сутулился на разобранном диване, призывал сон, а он бежал от меня. Снова жалобно вскричала мать, усташась видения, и в своей ночной беспомощности была сейчас особенно несчастной. Ведь и я вроде бы возле – лишь протяни руку, но наткнется она на преграду, которую не осилить никакими войсками и знанием.

Разбуди Марьюшку – и не вспомнит блазни; лишь зарипкает ресницами, а вскоре и надуется, как ребенок, будто я смеюсь над нею. Когда земля расступается под живым человеком, значит, готовится принять гостя. Хоть и годов своих не чует старенькая, но смерть на кривой не объедешь, скоро в могиловскую... и трудно представить, как придется жить без матери, коротать бобыльи деньки. Эхма, верно судит мать, обидчиво поджимая и без того тонявые губы: «И чего ты роешься в бабах, как в мусоре? Не отец, нет, не отец... Люська-то чем была не жена? И урядлива, и тихословна, и непоперечна, и пылинки сдувала, и обед готовила из трех перемен, как генералу. Почаще бы гляделся в зеркало, коли такой ученый, так не ставил бы себя высоко».

Думаем, что живем будущим, де, все еще впереди, а глядь – уж деревянный бушлат примеривай. И беда наша, что живем мечтою, а иначе бы знали цену дню, не прогоняли бы его от себя. И не верим тому, что, пока мы стареем, наше время течет вспять, оно было полным,

когда мы зачались в чреве матери. И от той самонадеянности, что лучшее – за горизонтом, мы так безнравно изживаем время, прогоняем от себя спутников и друзей, перебираем женщин, отыскивая лучшую, но, по странному совпадению обстоятельств, достается чаще всего нравная, гонористая, себе на уме, настоящая заноза: и носить в теле мешкотно, и выдернуть больно. Если ищешь богатую, то получишь горбатую; ищешь податливую, а найдешь фасонистую.

А вспомнить если, и почто бы не жить с Люсей? Фигуркой укладистая, все при месте, большеглазая, скромна и благонравна. Как-то нынче живет?

Ведь жена без мужа, что стог неогорожен: всяк норовит ущипнуть.

И вроде бы повода не было к разводу, а побежал вдруг сломя голову: только бы вон поскорее, да не застрять. И чего приспичило? Какими коврижками поманили – уж и не вспомнить. Но воли шибко захотелось, воли. Думал: горшки не делить, чемоданишко в руки, да и поминай, как звали. Встал на пороге, за ручку двери взялся, а выйти не могу, будто приковали. Уходя, никогда не оглядывайся, ибо повязываешь себя с прошлым. Это и есть скрытый сбой в логической системе... И оглянулся...

Стоит жена посреди комнаты, уронив вдоль тела безвольные руки, и в наполненных слезою глазах такая недоуменная боль: за что? И эта беспомощность, эта бессловесная покорливость судьбе ударили меня под дых. Если бы она закричала, по-бабы истерично завопила, завывала, облила меня помоями, как обычно водится при расставании, то оставалось бы только с облегчением хлопнуть дверью и все разом забыть: и жену, и прошлую нескладную жизнь. Но Люся сказала лишь: «Спасибо тебе за все». И я, стоя на пороге, неожиданно для себя заплакал.

Во мне все взорвалось, вскричало: «Зачем же так все повернулось? Кому нужны мои страдания? Кто со злым умыслом управляет мною? Боже!»

Мне показалось тогда, что я присутствую на похоронах собственной жизни, отрезаю от себя все пережитое, как бы укорачиваю нарочно свой путь, делаю его плавучим и скользким, а ныне, кто знает, что принесут грядущие годы. Не отсек ли я сам себе собственную руку. Ведь как ни приращивай протез, как ни украшай его дорогими алмазными перстнями, сколько ни гулькай над ним, по нему уже никогда не заструит живая послушная кровь.

Нет, я тогда не соображал, что делаю явно неразумное и глупое себе, но душа-то чувствовала бессмысленные потраты, остерегала меня, и потому, не зная на то объяснимой причины, я еще никогда прежде не был так горестен и несчастен. Ну так и прислушайся к голосу разума, братец, всполошись от своей ошибки и смело повинись перед женою. Она поймет и простит. Так нет же, я переломил тогда себя, подхватил с пола чемоданишко и, хлюпая носом, выскочил на желанную волю...

И что нынче в остатке, братцы мои? Сплошная система сбоев, в которую укладывается вся моя немудрящая жизнь вместе с потрясениями, новой перековкой сознания и премьером, похожим на кузнечика, качающегося на пере пожухлого пырея на краю пропасти. И те престлестницы, что попадались на пути, разве стояли хоть ногтя оставленной жены? Увы... И вот сижу я у разбитого корыта напротив кладбища и ворошу погост собственных воспоминаний, добываю из осевших могил тухлый прах, отыскивая в нем хотя бы жалкие следы былых радостей. Красиво мыслишь, сударь, но пошло...

Все перепуталось в голове, многое выпало в осадок, иное сочинилось, и, может, не так все остро и было пятнадцать лет тому? Но отчетливо помню, как заплакал горько, безутешно, размазывая слезы по лицу, и никак не мог утишить себя, сбить внутренние рыдания. Может, те чувства наложились на нынешнюю собачью неприкаянность и одинокость и обрели иной, болезненно-яркий окрас, но в памяти отложились всего лишь одной фразой, тихой, послушливо и смиренно сказанной мне вослед: «Пашенька, спасибо тебе за все».

И опять в основе логической системы образов, как упрямо вылезающий сломанный мосол из мяса и шкуры, – магнетизм неумирающего сердечного слова.

Нет, заклинило мою болезную головку, словно бы зажали ее в деревянный палаческий башмак и давай скручивать винтом, выжимая из расплавленных мозгов всякие бредни. И если их отлить в печатную форму, пропечь на огне, подсластить, отглазировать медом и ванилью и навести из рожка кремовых вензелей, то получится прекрасная рождественская козуля воспоминаний. После повесить над кроватью на гвоздике и глядеть на нее в долгие зимние вечера, как на просфору, мысленно откушивая по крохотной частице, разводя в вине или водке, что найдется, и тогда можно высветлить самую тоскливую обыденку и отыскать в ней немеркнущее очарование. Не так ли мы все и слепливаем для себя картины прожитой жизни, чтобы не впасть в гибельное уныние.

Тут под правым подоконьем вновь взвыло и заскрежетало, словно бы кто железными зубами перетирал загривок обезумевшей свинье. Я выскочил на крыльцо, но пакостников ночных и след простыл, только померещилась мне тень в заулке, по-заячиному верещащая и по-совиному ухающая. То злое привидение перелетело через кладбищенскую ограду и скрылось меж могил. Тут же в провале церкви вспыхнул фонарик, и клин света разъял предутреннюю темь, нашаривая жертву. Я вышел на улицу. Деревня, умаявшись за праздник, проводила за околицу святого Петра и теперь плотно спала, и лишь окна моей половины ярко светились.

Да я особенно и не сердился на огольцов, хотя каждый звук в ночи раздражал и заставлял вздрагивать и переживать непонятный испуг. И не в тонкости моей натуры тут дело, но в том судорожном состоянии, в котором уже давно находилась моя душа, не находившая покоя. Умственная работа подобна пьянке: сначала весело и азартно, а после маятно и смутно, будто живой плоти кус вынули незаметно, разъяв тело, и положили в то место речной камень-голыш: и грузный, и скользкий.

Я подошел к угловому окну нашей половины, приобсмотрелся и сразу нашел, что искал. Так и есть: свисает длинная капроновая нить, одним концом пришпиленная к переплету рамы щучьим крючком, а на другом болтается спичечный коробок с деревянным пенечком внутри. Старинная ребячья забава из глубины древнего времени – потеха праотцов. От мокрой нити круто пахло керосином. С подобной пугалкой и я бегал мальцом в святки, и тогда, в зимние ночи, получалось ох как здорово...

Снег скрипит под катанцами, глубокие синие тени под ясной заиндеветой луной, и за каждым углом чудится засада. И вот крадешься к умышленному дому, чтобы взбодрить спящих, а после, насолив, под гулкие и грозные крики разбуженного хозяина даешь стрекоча и долго не можешь успокоиться где-нибудь в затишке, умиряя пурхающее от страха сердце, и о чем-то, захлебываясь, восторженно говоришь ватажке, перехватывая из чужих губ слюнявый махорный чинарик. Горький едучий дым лезет в утробу, кидается в голову, захмеляет, и, завалясь на спину в сугроб, глупо хохочешь, уставясь в звездное искрящееся небо.

Мне бы этот нехитрый гулевой снарядец закинуть к чертям в крапиву – и дело с концом. Но я огляделся воровски. Деревня спала, и лишь в моих окнах тлел желтый мутный свет. И тут будто леший дернул меня за руку... Чтобы на горушке прожитых лет да вдруг скинуться в ребячество, в пустую досадную затею?.. Дурашливо улыбаясь, я подобрался к угловому окну, за которым в своей душной спаленке ночевала на вдовьей кровати бабка Анна, насадил крючок в деревянный переплет и стал натирать капроновую нить, вымоченную в керосине.

От противного поросычьего визга в избе зашевелились, слышно было, как, кряхтя, сползла с койки старуха и неожиданно споро, чего я не ожидал от Анны, распахнула створку, высунулась головою наружу, нашаривая гопника взглядом. От церкви метнулся белесый сползливый пук света, там засмеялись, дурашливо засвистели. Я, притираясь к бревенчатой стене, шмыгнул на свою половину, затих за сарайкой, унимая вспугнутое сердце.

Ну не дурень ли я? Вот тебе и научный сотрудник. А в голове, на самом деле, ветер. Блажь вроде бы, придурь, наваждение, насыл от черных сил, но вот эта нечаянная лихость нередко нападает на поживших людей, кому вдруг так затоскуется по детству, что легкое сума-

сшествие порою нисходит в голову, честное слово. Вот старик Могутин, бывало, прежде чем трубу печную выводить, на гребне крыши вставал на голову. И с той же бабкой Анной случилось... Как-то я зашел к ней за молоком, а старуха вытворяет в сенях какие-то странные фигуренции, оттопыря костлявый зад, будто ищет в потешках раскатившиеся по полу жемчуга. Я к старухе с участием: де, Анна Семеновна, иль чего потеряли, так я помогу. «Да вот вспомнила детство и решила на голову встать. Умом-то еще молодая... И не получилось, Пашенька, зад перетягивает».

– Оглашенные! – завопила бабка Анна на всю деревню.

Третьи петухи так ретиво не кричат. Ее голос эхом отдавался в сосновом бору и за речкой Пронею, и уже с того берега, утратив ярость, возвращался, умиранный, в Жабки.

– Вы почто бабке старой спать-то не даете, ироды? Не бьет мамка, дак научит палка. Вот возьму батожину, да по бачинам перепояшу... Ох, огоряи, ох, сучьи дети!

От церкви в ответ засвистели, соседка в сердцах хлопнула рамой. Я долго туповатенько улыбался, уже сидя на диване, но не корил себя за проделку.

Мне-то хотелось думать, что от меня отступились дикари, скинули свой мстительный нрав на Жабки и сейчас шерстили своим нравом уснувшие изобки.

Но нутром, однако, чуял тревогу, и оттого, что сердце было напряжено, а ум растревоженный не находил покоя, я долго не мог уснуть, ища в своих превратностях общие для страны беды. Голова моя разрослась, и в ней ударили в набат беспокойные колокола.

Уже посветлело на воле, жидкая плесень пролилась на затертые старинные половицы, а ничего так и не случилось. Я шарился ногами в простынях, наискивая прохлады, и от беспочвенной тоски, что овладела мною, весь мир мне казался враждебным, заселенным злом. Я вспоминал свои встречи с подростками, их косые взгляды исподлобья, какую-то зловещую ухмылку отроков, их шаркающую валковую походку, слишком громкие вскрики и хохот, и уже почти ненавидел молодую порось, подпирающую меня...

Конечно, грех кощунствовать, но в нынешних детях есть что-то дьявольское, ненасытное и злое. Смотришь в их глаза и видишь сквозь брезгливую сытость и раскормленность тину стоялого смрадного болота. Какой-то садизм в них, похотное желание мщенья. Преследуют ночами, брякают в окна и гнусно воют, кидают на крышу поленья, а после, как откроешь дверь, отбежав по-сучьи в сторону, издали хохочут нахально. Вот эта шакалья наглость, это желание мучать ближнего и пугают особенно.

Дом деревенский дышит, как живой, скрипит суставами, охает и вздрагивает во сне или переговаривается с домовым. Он несет в себе столько звуков, что только диву даешься, но эти древесные разговоры и шорохи – свои, привычные, в них нет заботы. Но теперь, когда ночные шатуны вновь приступили к избе, нарушили ее ровное дыхание, каждый звук в доме становится необычно громок, враждебен и досаден...

Простая ребячья шалость, угнетенная бессонницей и разгоряченным умом, вдруг выросла в настоящее неотвратимое бедствие, похожее на неизлечимую хворь. Я лежал на диване, поджав к груди постанывающие в коленях ноги, и мне вдруг представилось, что я вижу последний акт из пьесы о русском народе, присутствую при его кончине. Какие-то зебрастые, волосатые, с окаменелыми глазами существа приступают к Родовой Избе и с радостным гуканьем поджигают ее со всех сторон... Это днем все образумится, встанет на свое место. И та же бабка Анна вспомнит из прошлого, как у Кати Дамочки на заборе висели длинные домотканые половики, и они, еще девчонки, возвращались в темноте с вечорки и подшутили, завесили низкие оконца в несколько рядов. А потом тетя Катя, смеясь, рассказывала: де, сплю-сплю, глаза открою, а все ночь на дворе. Потом слышу, скотина ревет. И не пойму, в чем дело... Пошла во двор, а уж день-деньской.

Но я-то зачем сейчас сотворил пакость? Значит, позарился на покой слабой старухи, не способной дать сдачи, и как бы легко встроился в ночную гулевую орду? Иль, улучив пре-

дательскую возможность, свою пакость скинул на головы неповинных, чтобы назавтра бабка Анна ходила по Жабкам и выясняла, кто из гопников повадился бродить вокруг ее дворишка, а заодно и хулила родителей, что позволяют своим детям шляться ночами по деревне...

Вроде бы и человек-то я из благородных, ученый муж, и никто бы не положил на меня косога взгляда, а тем более что увечный, а в народе глупеньких и несчастных пожаливают. Конечно, нет на земле ни абсолютного зла, ни абсолютного добра, они причудливо перетекают друг в друга, одевая карнавальные маски. И ведь мне нисколько не стыдно за этот пустяк, но как-то неловко, будто явился на люди с незастегнутой ширинкою, хотя и пододеты под желтые байковые кальсоны. И непонятно, то ли стыдно из-за неряшливости в гардеробе, то ли из-за стариковских исподников, как знака старческого увядания и близкой немощи, как намек на хворь, так досаждающую нынче мужикам.

Однако сколько слизи в нашей душе, сколько неясного, переменчивого... Отринутые от живой природы, мы поистратили искренность чувств. В нас, интеллигенции, скрывается порча, и даже не просто порча, кою можно залечить таблетками, но воинствующая порча, а значит, мы – порчельщики рода человеческого, и все из-за самолюбия, гордыни, кичливости и тщеславного любопытства. Сколько греха, какое скопище гноя, настоящий содом в душе. Только попустили, разрешили писать в книгах, что хочешь, открыли со двора ворота на вольные луга, и столько грязи полилось, разврата и пошлости, чего не знавал весь предыдущий мир. И чего бы хорошего, так нет! Я худой, так и вы станьте скотами, и вы извратитесь до конца, падите вместе со мною на самое дно, в бездну, откуда уже не подняться. «Слепой слепого еще сведет в яму...» И каким же добрым словом прикажете называться?.. Мы не только развратители, но мы – порчельщики.

Мы не любим свой народ, презираем его и оттого хотим переделать, подогнать под свои безумные химеры, а народ отчего-то не покупается на них, не отвергает природное чувство, и потому в своем упрямстве особенно плох для нас, хотя и противостоит нам из последних сил и молит о жалости...

Мысли гонят сон, дают мозгам какого-то бунтующего опоя, отчего долго бродишь умом по заведенному кругу, как лошадь на вязке, не в силах обуздать или вовсе оборвать надоедливый образ!

В размышлениях я забылся уже под утро, и в этом коротком плотном сне, как в наказание, привиделся мне коренастый, заросший бородою мужик с блестящим широким ножом, каким мясники на рынке разделяют скотские туши. Я упорно оборонялся от него табуреткой, а тот наседали и вдруг с силою всадил лезо в сидюльку, так что прошил ее насквозь, внезапно отступился от меня и медленно пошел прочь в длинный пустой коридор, часто оборачиваясь, будто приглашая за собою. Потом остановился и, грубо регоча, стал добывать отовсюду ножи, будто фокусник: из носков, из карманов брюк, из-за шивороты, из лохматого смоляного волосья, а напоследок выдернул из-за опояски громадный сверкающий секач с окровавленным острием...

И тут я проснулся.

* * *

Это в городе дни быстротечны, ибо человек выпал из природного круга, и сгорают они, как березовая лучина над корытцем, потрескивая и роняя в воду огарки и красноватые рассыпчатые искры. Каменные вавилоны заслоняют солнце, а значит, ты вне Бога, и даже если и живет Господь в душе, то в неясности жизни, в сумеречном однообразии ее. Он невольно присутствует, как отставной калека-солдат, оприюченный в сердобольном чужом углу. И оттого, что жизнь не освещена Светом, насельщики в городах торопят пенсию, ждут ее, как благодати, как манны небесной, чтобы наконец-то в заурядный и затрапезный быт впустить солнце и устроить жизнь по природным канонам. Несчастные людишки, в свой день радостно бежав-

шие из деревни в поисках счастья, не ведают того, что отныне весь век коротать им в грустных мечтаниях по малой родине, но уже никогда сердечно не слиться с нею... Это я вам говорю, Павел Петрович Хромушин, без пяти минут доктор психологии, уроженец деревни Нюхчи, что на Суне-реке, на своей шкуре испытавший городскую каторгу, в кою добровольно забрел тридцать лет тому и закрыл за собою ворота на секретный замок. Ведь жила же во мне твердая уверенность, что, впитав отеческих наук, я обратно вернусь к вам, дорогие однодеревенцы, чтобы поделиться знаниями, почерпнутыми из родниковых кладезей, как приносит чудных вестей странник, воротившийся из чужих земель.

Ну, сундучок-то книжных премудростей я скопил предивный, но, увы, не вытряхнул в родной деревне на гостевые домашние столы, но сам заполз в это пыльное, залежавшееся без нужды богатство по самые уши и захлопнул над собою тяжелую крышку, сшитую железными обручами. Вот также былинный Святогор залез в гробовую колоду, надвинул над собою дубовую крышницу и, сокрушенный, испустил дух, самонадеянно уповая на свою богатырскую силу. Город сделал меня порчельником, но в этом я смогу признаться лишь самому себе в маятном исповедальном сне пред неясным образом Дедушки с поясной серебристой бородою и серым глубоким взглядом...

А в деревне для горожанина дни тянутся долго, как бы заключая в себе целую жизнь, они ткуютя несуетно, как пряжа, со своими узелками, шершавинами и шерстяными залипами от неловких старческих пальцев, потиху свиваются на веретено в клубок, но имеют видимый зачин и венец. Городские, попав в деревню, сильно страдают, что день такой бесконечно длинный и некуда себя деть. В этом празднике жизни, уготованном Господом, они видят лишь тризну себе. Несчастные, бежав из деревни, они угодили в добровольный тесный хомут, из которого высвободит лишь сыра земля. Крестьяне же день уходящий жалеют, что он так быстро прикончился и не все еще дела исполнены.

Легкий ветерок колыхал занавески и щекотал мое лицо, сквозь плотно сомкнутые веки проникал в мое окостеневшее во сне естество и полировал загустевшую кровь, умножая красные тельца радости. Так, наверное, и начинается пробуждение человека, который в полном здравии. Невесомая пуховинка света мазнула по лбу и внутри головы, где-то в затылке вдруг щелкнул рычажок «чик-чик» (я так и услышал этот звук переключателя), и тебя, словно бы замкнутого в саркофаг, медленно, плавно выкатывают из Зазеркалья, не имеющего видимых рубежей, и кто-то с неохотою отодвигает крышку с твоей колоды. И в это мгновение понимаешь вдруг, что ты снова воскрес, твое общение с миром мертвых прервано, тебя вернули солнцу. И вот та тоска, печаль от неопределенного положения, мой сердечный раздрай меж городом и деревней и переживались мною так глубоко и страдательно именно на той границе, когда я еще не выпал полностью из забвения, а значит, жил на рубеже яви и нави. И мысли, что рождаются в этот короткий миг, кажутся удивительно глубокими, как бы нашептанными самим Богом... Я пробовал их записывать по пробуждении, но они оказывались обычной блажью, корявыми и вычурными, лишенными страсти.

Я не открывал глаз, но по шелесту занавесок над головою легко догадался, что далеко не утро на дворе. Обряжаясь, Марьюшка нарочно оставила дверь полой, чтобы не мешать мне спать, бредя во двор; из темных сеней поддувало сквозняком, с шорохом парусил полотняный серый покровец, натянутый на проем от комаров.

Марьюшка кашлянула сдавленно, боясь и тут досадить, заелозила кочергою в печи, стреляя живые уголья на загнеток. Скрипя, потянулся на шесток щаный горшок, звякнула крышка, мясной парок выпорхнул на волю и окончательно погнал меня из сонных нетей. Но я знал, что Марьюшка меня напрасно не похулит за безделье, она и здесь для сына сердечных капелек сыщет, чтобы снять ночную хмарь. Ведь человек должен подыматься из постели с веселой песнею, с праздником в груди, а ложиться спать с покаянною молитвой.

Навряд ли знала Марьюшка о моем пробуждении, а то быхватила валяным отопком по костлявой заднице, выпирающей из лоскутного одеяла, и, устав ждать утреннего чая, заверещала бы с придыхом: Ну-ка лежебоку с Пашиной хребтинки я прочь погоню. Ишь ли, спать мешает, злодей. – И еще хлобысь мягкой калишкой вдгон. – Ну побегал, эко потрусил! А ты спи, мое богоданное, пуще, спи-почивай, мое богатство... Кто рано встает, тот злыдня встречает, а кто поздно встает, тот таланту дожидает...»

А солнце-то, поди, уже на гребень крыши закатилось и вот-вот свалится на запад, и его прощальный душегрейный луч, оскальзываясь о покать принахмуренного неба, вместе с запашистым ветерком западает и в мое бобылье оконце, теребит склеившиеся рыжеватые реснички, умягчает обочья. Что-то мягкое, обволакивающее, так похожее на бабью ласку, вдруг теребит, оживляет мое естество от макушки до пят, и я обретаю слух особый, какой-то чувственный и тонкий, который тут же и умрет, как только я коснусь ступнями пола. Наверное, в эти минуты уши особенно отворены для Бога, а глаза для слезы.

Я чуть расщемил веки, чтобы не выдать матери своего пробуждения, и увидел склоненную над столом Марьюшку, ее кособокое, сухопарое тельце, покрытое коричневым старушечьим платищем, ее зависшую корявую ладонь с просторной морщиноватой кожей. Я осторожно сдвинул взгляд влево. Около круглого блюда со вчерашней стряпнею стояла на цыпочках, как балерина, крохотная мышка, вцепившись коготками в зажарный край шаньги, а над нею нависла матушкина длань: узловатые пальцы были сложены в щепоть, словно бы Марьюшка норовила ухватить домовушку за шерстяной серенький загривок. Старуха рассматривала бесстрашную скотинешку с таким любопытством, с таким интересом, будто век не прожила, и голос ее, тончавый, переливистый, приобрел умильную слезливость:

– Эка ты малеханна, голубушка, да сколь хорошаща. И ведь тоже ись хочет, божья тварь. И неужели я тебя убивать стану? Пусть тебя кошка ловит, на себя грех берет.

Котяня, безмятежно и грузно лежавший у меня в ногах, лишь бестрепетно повел ухом.

– Да гони ты эту касть, – не сдержавшись, подал я голос, хриплый от сна. Но Марьюшка не удивилась и, не глядя в мою сторону, назидательно ответила:

– Мыши-то маленьки ни в чем не виноваты. Люди во всем виноваты.

– А в чем люди, по-твоему, виноваты?

– А в том, что все испакоостили и никому житья не дают...

Мышка тем временем проструила по дивану и юркнула в расщелинку над подоконьем, как бы растворилась в пазу среди рыжих волоконцев мха. Вот тварюшки, действительно, в нитку утянутся, чтобы спастись. Дальнейшего разговора я не затевал. У печки гнусаво пел самовар, пускал фистулы, на камфорке гордовато высился заварной чайничек с приобколотым носиком.

– Чай-то весь простыл. Вставай, если время грянуло. Я тебя, сынок, не тороплю: спи, коли хоть. «Кто поздно встает, тому Бог таланту дает». Мало тебе таланту, так ложись заново, только чаю испей. У меня терпежу уже нет. Ужас, как чаю хочется...

И делает Марьюшка вид, дескать, живи по своей причуде, но ведь сама неволит. Да так неволит, что ослушаться – грех и сплошное расстройство. А как сладко потянуться в постели, сделать потягушеньки да и снова замереть, потом потереть пятку о пятку, поелозить ножонками, повытягивать хребтину, напряжить руки и квелую «нероботь». Нет, все-таки я конченный человек, от плохого племени не будет и годного семени, доброго приплоду. Где конь валяется, там и шерсть остается, а по мне – одна лень да стена.

Прежний-то хозяйственный мужик к этому часу уже до поту наломается на подворье, в поле иль в лесу, да после, придя к столу, каши горшок смолотит, да ладку рыбы с «однорушным» ржаным ломтем или сковородку саламаты на свином сале, да ковшиком ядреного кваса отлакирует и, скрутив козью ногу с самоварную трубу, осоловело глядя с лавки-коника в окно, завесившись дымным чадом, на какую-то минуту уйдет в себя, погрузится в сытую дремную

утробу, напрочь забыв о душе, а измусолив сигарку, встряхнется, как лошадь от налипшего оводья, да тут же картуз в руки и снова – в нескончаемую крестьянскую работу. Солнце катится по кругу, вот и ты, христовенький, поспевай за ним, не отставай от благословенного...

А какой от меня толк, если весь я испротух в постелях, изжижнул, как прокисший окунь. Короче, не в коня корм, не по байбаку царь-девица.

А корить себя – ой сладко, аж слезу из самого сердечного нутра вышибает и, глядя искоса на спящую Марьюшку, того пуще жаль себя, почти младеню, укутанного в цветное лоскутное одеяло и ждущего от мамки коровьего рожка с молоком иль хлебную жамку. Вот уже в кулек, в конверт из простыни вместился я, и в губах пузырится, понявгивает испротертая резиновая пустышка.

Нет, всякий рождается в мир по Божьему дозволению, по отцову радению. Вот Семен Могути́н, бывало, ествяный был, нажористый, мог сразу телячью голову смолотить и все кишки от убоины: сварит и съест, да еще к котлу притирается, нельзя ли чего в одоньях заскрести. Председатель, как приедет на сенокос, то обязательно смеряет ему загривок клеенчатым сантиметром. «Посмотрим, скажет, как ты, Семён Иванович, раздался и поздоровел». Но зато Могути́н мог считать за светлое время дня зарод в двенадцать промежков, лошади не успевали копы подвозить...

Но, может, совсем зря ты себя мутызгаешь, может, и ты к чему-то призван на свет, Павел Петрович Хромушин? Ведь не бывает для Господа лишних людей: добрые пригождаются в работу, дурные – в назидание и остерег. Как не бывает лишних слов: только в одних устах они бездельные, а в других – врачующие.

И что от Могутина осталось? Печь в пол-избы, да крест в полтонны. А от меня – кипа бесхозных бумаг, раскиданных по белу свету, и портретик на стене школьного коридора в родной Нюхче.

– Пашенька, занеси самовар на стол, помоги старухе, вижу, не дожидаться к столу, – попросила мать.

6

Не успел с дивана сняться, как явилась соседка, принесла молоко. Вошла, как водится, не спросясь. Крохотными, глубоко посаженными глазками обвела избу, остановила суровый взгляд на мне. На голове кожаная шапенка, сама ростом в сажню, в дверь едва влезла. Низким голосом, притаивая добрую издевку, спросила вроде бы спокойно, но занавески на окне всколыхались:

– Ты чего, колчужка, лежишь? Иль яйца паришь? Ой, Стяпановна, до каких пор ты будешь сына поваживать. Засохнет в бобылях. Все скиснет, а чем унука для тебя ковырять?

– Какой там унук, – махнула рукой Марьюшка. – Ты, Анна, чего кричишь, как на тот берег перевозу. Я чай не глухая.

– Говоря такая... А ну вставай, лежень! – приказала. – А то сейчас дубьем. Ночью у него все окна горят... Только деньгам перевод. Днем думать надо. Ночью – черные мысли, днем – светлые. – Не чинясь, сдернула одеяло, ткнула дресвяным пальцем в мою тощую интеллигентскую грудь, едва помеченную ржавым волосьем, игриво ущипнула под пупком. – А ну, подвинься, лодарь, сейчас деток делать будем.

– Какие тебе детки, Анна Тихоновна. Поди, все уже повырезано и веретенкой зашито. Только добру один перевод.

– Куда ли еще сгодится парничок, – стеснительно кинулась в защиту Марьюшка и торопливо набросила на меня одеяло.

– А ты, Стяпановна, и неуж не знала? Нынче мужики... долой их, на свалку, да готового робенка бабе в родилку вставят. До мизинца в трехлитровой банке выкормят, а после и всадят, скажут носи, бабка, дите... Вот мне наснилось нынче от горей, что будто я тройню принесла, как котят. Я и заплакала. Ой, куда с има старой-то?..

Старуха отвернулась от меня, свирепо уставилась на стопу шанег и пирогов, возле которых недавно увиваласьмышь-домовушка. Подхватила от печи самовар, с приступком выставила его на стол подле стряпни, даже не сняв с конфорки заварника. Бедная Марьюшка и охнуть не успела.

– Так ты, гостыюшка, садись, – по-северному, с протягом, выпела мать. – Праздничное кушать будем.

– А что, и сяду. Почто не сесть. С четырех на ногах. Скотину обрядила и бегом в Тюрвищи попроведать мужнего брата. Сын Гришка на днях вернулся. Это он, гопник, ко всякому слову, раньше сядешь – раньше выйдешь. Э-э, тюрьма научит. – Старуха вздохнула, придвинула к себе чашку с цветочками, посудинка исчезла под ее бурой ладонью, как цыплек. Шаньгу съела в два прикуса, чай выхлебнула и тут же опрокинула чашку верх донцем. – Да... Ехал Гришка на машине. Шоферюга он. Подобрал по дороге тетку и снасил. Сам-то писаной красавец, но горький пьяница. С малых лет запил, да. Ну, пять лет отсидел. Вот, значит, снова сел за руль, поехал, подобрал по дороге бабу с ребенком в кабину. В дороге девчужку-то ссадил, а бабу снасил. Только неделю и гулял, милок. И снова на шесть лет загремел. Сам-от, хозяин, «самовар». Пил, курил. Врачи говорят: брось курить, ноги отрежем. Ну, отняли ноги. Мать не снесла горей, этой весной скончалась. А до меня слух-от... Это он, Гришка из Тюрвищ, нынче ночью у нас галил. Его бы в больнице проверить. Может, шарик – за ролик. А он на свободе... Дошла до кладбища, сидит Гриша под забором, плачет. А еще раным-рано. Я у него: «Гришенька, чего плачешь?» А он мне: «Маму жалко». Я ему: «Раньше надо было жалеть». И пошла, не стала припирать. Плачет дак. Душа, значит, есть. Маму, говорит, жалко. Эх, дуралей, дуралей. И мой такой же...

– От вина плачет, – рассудила Марьюшка. Она люто недолюбливает пьяниц. – За водку чёрт церкву ломал.

– Может, и от вина...

Я Марфу из Тюрвиц хорошо знал. Чернявая тетка татарского вида с сизыми глазами и крупной бородавкой на лбу. Марфа проходила поутру через нашу деревню на дальние богатые черничники, куда из Жабок-то редко кто решался наведываться, и бывало, тащится ввечеру обратно, вся приопухшая, искусанная комарьем, с огромным скрипящим коробом на сгибе руки, с краями, налитыми сизо-синей отборной ягодой, будто вишеньем, и с кулем обабков, сломанных по дороге. Помню, застрянет у нашей избы, поставит корзину на землю, низко поклонится, виноватым голосом попросит воды. И потом пьет долго, как утомленная жарою корова, роняя капли на залоснившуюся от пота и лесного праха грудь. Руки крупные, тяжелые, с набухшими жилами, с фиолетовыми от черники разводами, будто натянуты на пальцы цветные резиновые перчатки. И ни слова не проронив, снова поклонится и потянется упрямо через Жабки, больше ни к кому не привернув. А до дому еще пехаться с ношею версты три, а там ждет муж – «самовар», дочь с внуком и невестка, уж который год плачущая по своему «тюремщику».

Я люблю слушать эти разговоры, обычно не вступая в них, вроде бы необязательные, тягучие, с отступлениями и грустными вздохами, а то и со скорой слезою, тут же высыхающей, порою до того по-бабьи откровенные, что уши приобвывают, но не от стыда, но от смущения, что вот вторгаешься в чужое, исповедальное, чего не стоило бы знать. Вот, вроде бы отгорела жизнь со всеми страстями, остался один пепел, но вот безо всякой на то причины, вроде бы утраченная навсегда вдруг выпрастывается, как бы ниоткуда, неведомая прежде судьба, записанная на потаенную ленту, и является миру некая рядовая история, почти житие, внешне обыденная, безликая, но отчего-то поражающая отзывчивого слушателя в самое сердце.

Меня удивлял печальный сумрак на лице Марфы, словно бы она, как торбу на плечах, несла в себе неистребимую, незамолимую вину. Глаза, как приспевший терн, фиолетовые от черники руки до самых запястий, низко надвинутый на самые глаза черный плат и темно-синий зипун по щиколотки. С нею шло что-то темное от мужа иль по своей родове, иль просто искоса по теткиной ветви, что пришлось тащить до самого гроба, как тяжелый крест. Мне хотелось зацепиться за покоенку Марфу, «за гопника», что только что освободился из тюрьмы, но соседка уже скинулась на другое, что прежде занимало ее ум, а перебивать было негоже, чтобы не сбить бабок с настроения. Я неприметно выскользнул из постели, скоренько оделся и присоседился с дальнего края стола на низком диване, почти спрятавшись за самовар.

Но от моей Марьюшки никуда не деться... Она не то чтобы пасет меня иль досаждаёт упрямым досмотром, не дает шагу ступить, но своими блеклыми глазенками словно провожает каждое мое движение, боясь, что вновь оступлюсь, снова попаду впросак иль в неприятную историю, что сопровождают меня с детских лет. Помню, как отлучился от матери всего-то на неделю к деду в Занюхчу. Надо было лишь через реку переехать. Заскочил в дырявую лодчонку и тут же пошел ко дну, едва спасли. Побегал играть, где на задах деревни стояла сломанная молотилка. Крутнул ручку, сунул палец в привод и едва выдернул. И не просто сломал, но размичкал в месиво. Столько и гостился у деда. Скорехонько меня в больницу, палец залечили, но неудачно. Сломали заново. Вроде бы срастили, все ладом, сгибается. Прощался с врачом и на радостях так пожал тому руку, что все лечение пошло прахом. Макушку указательного пальца отчекрыжили. Хорошо – на левой руке, стрелять не мешает... Потом три раза тонул, один раз угодил под плитку бревен, однажды засыпало в песчаной берлоге, которую сам же и вырыл, как-то заблудился, искали неделю... Потом прыщи высыпали по телу. Не хотенчики на лбу, как водится у созревающего व्यюноши, а натуральные вулканы. Отправили в лепрозорий, думали – проказа. Это когда в Вологде в институте учился. Два месяца откантовался – никакая зараза не пристала. Был случай ужасный: с одним «проказником» поздоровался, у того рука отвалилась совсем.

Ну, решил здоровьем вплотную заняться: умные люди сказали, что прыщи от застоя крови, что надо больше двигаться. Надо бы с бабой закрутить, там вон какой разгон, а я, дурак, решил бегать трусцой. Все тогда бегали, ну и я побежал. Однажды запнулся на ровном месте, упал, грешный, и выбил ногу. Ну пустяк же, верно? Гипс, шины, две недели отвалился – и гуляй, Паша. Дело молодое. А у меня отозвалось: нога стала, как плоть. Поехал к Елизарову, тот мне вытянул ногу и укрепил. Хорошо, что левая. Через год вернулся к хирургу на осмотр, решил похвастать: говорю врачу, де, смотрите, профессор, как я бегаю. Заковылял и упал. Для меня – горе, а со стороны – смех и грех. Опять на полгода в койку. Двух сантиметров не дотянул Елизаров до нормы. Приезжай, говорит, еще будем стараться. А я плюнул и больше не поехал. Мне девчонка одна сказала: главное для мужика не красота, а ум... И вот теперь я – «колчушка», как говорит бабка Анна, косоногий, хромуша. И ведь как нагадано было самой фамилией: носить мне эту примету, не износить до конца дней... И разве нет в моей судьбе логической системы? В самой фамилии заложен изъян, сбой. Мог бы не телом, так душою охрометь, головою, судьбою. Дескать, зачем хранить совесть и честь, коли один раз топчем землю. Хватай, что плохо лежит, жми в горсти, закатывай ближнему салазки, рви чужой кусок изо рта, беги в райские Палестины, за бугор, где на каждом дереве возле кисельных рек висят плюшки сдобные и гнутые кренделя.

Господи, да как же ты подфартил мне, как же вовремя подставил ногу, что я, горячий и уросливый, брякнулся рылом оземь и вдруг очнулся от своеволия и гордыни и, «уковечившись» однажды, попустил душу свою для совести и жалости. Вот и слух обо мне по Руси великой, что душевед я. Да никакой не душевед, а маленький человеченко, раненный совестью... Если бы я стал писателем и впустил эту фразу в роман, то всякий умный книгочей сказал бы: «Ты, Хромушин, – графоман».

– Павлуша, ты чего вскочил? – Марьюшка сделала вид, что только заметила меня. – Поспал бы еще, коли душа просит. Иному-то страсть как хочется поспать, да глаз не может затворить... Он ведь у меня умственный, – похвалилась Марьюшка товарке.

– На том свете выспится. Не велик барин, – сурово отрезала Анна и, потянувшись над столом, узрела меня медвежескими глазками. Лицо в тяжелых дольных складках помягчело то ли от чая, толи от простой бесхитростной беседы, когда вроде бы и зряшно убивается время, но и телом отдыхает старая, и жизнь вдруг наполняется смыслом.

– Там-то, чай, соседушка, и не дадут полежать. Там страсти. По краю-то ада бродить лет тыщу, а то и боле. Лететь не лететь в пропасть крошечную, припустит к себе Господь ан нет. Вот и гадай... Сколько грехов. И весов таких не сыщется. Вот где, Анна Батьковна, ужаси, кровь леденит... Нет, на земле не выспишься, а уж там не приведется, Господь не даст бока пролеживать. Спи, сыночек, пока спится. А там, дай бог, и для тебя девчоночка востроглазая подрастет.

Марьюшка отщипнула уголок кулебяки, обсосала лещевую коварную косточку и долго по-младенчески смоктала крохотный жевок нагими деснами.

– Все, Стяпановна, все, – подытожила прямая на язык старуха. – Вот сейчас твоему Пашке подложи под бочок хотя бы и девку кровь с молоком, с коей сок течет, как из березы, да ведь не шевельнется у него это дело...

Я спрятался за самовар, сгорбил, как зайчишка в кусту, мой мятый образ в зеркале самовара замутился и расплылся, искривился, как небесный переменчивый облак: не различить, где кудель бороды, где младенчески невесомый пух волос, – такие лица можно встретить на старой росписи храмов. И только глаза проступают с дробинами зрачков, полные неведомого ужаса.

И, эх, старая, беззлобно укорил я соседку, с горечью понимая, что она права, это я сам укоротил свой путь на земле, окорнал родовой, не дал ей зацвести и сронить новое семя. И для

какой чести жил тогда? Лишь для домыслов, хитро изложенных на бумаге? А Марьюшке-то каково доживать останние деньки, понимая, что несурза породила и бестолочь.

Я смутился, опустил глаза. Меня пересуживали, сейчас начнут до скрипа перемывать косточки, и не проще ли, отбрав вредной старухе, де: «старый конь борозды не испортит», выйти на волю, окунуть босые плюсны в ласковый плюш топтун-травы, не исклеванной курами, и, освободившись от сонной сердечной мути, спровадив ее в сыру землю, возрадоваться запоздалому новому дню. Но ведь вредная старуха тут же отбреет, де, и «глубоко не вспашет», и тут придется ей отвечать, что у молодого уд долог, да ум короткий, а она в пику тебе... Нет, братцы мои, надо помнить всегда, что у смолчавшего золотое слово в запасе.

Мать мерно докушивала кулебяку, чтобы не вспугнуть частенько тоскующую утробушку, схлебывала чай из блюда: ела она как-то бережливо, неспешно, с мирным сердцем, и едва ли слышала громовые возгласы гости, слышные даже за окнами. Деловито ворошились крутые, будто медяные, скулы, и круглые тусклые глаза вроде бы были безучастны, но я знал, что за лобной костью, за этой потрескавшейся истончившейся кожей созревают жалостливые слова, кои и будут для меня утешны.

– И мой такой же, – сказала Анна, чтобы смягчить горечь прежних слов. – Положить обоих на весы, никоторый не перевесит.

– А на кой и рожать при конце-то света? Грешников плодить? – Еще наемдни мать говорила совсем другое. – По писанью на заре нового века последняя сосна погибнет, и млადени станут рожаться о двух и трех головах, как при начале времен.

– Да будет тебе пугать-то. Доброму народу не станет переводу. Я бы и сама еще, слышь? – Анна шаловливо подмигнула, в звероватых глазах появился странный азарт. Большие, как волнухи, уши с вислыми мочками, белесоватые повылезшие брови, по лицу будто трактор-колесник бороздил, а в душе-то августовские сполохи бушуют, пусть и без громов пугающих и ливней, но молоньи бесшумные по всему окоему – от края и до края, на всю вселенскую глыбь. – Грех-то, Стяпановна, как орех: раскусил да и зернышко в рот. Поначалу и горчит вроде, а после мед да сахар... Слышь, Паша, и чем я тебе не жена? Будешь по мне ползать, как лосиный клещ, а я тебя нашаривать. Мне то и надо..

Я молчал, чтобы не вторгаться в крохотное театральное действо, где третий это лишь суфлер, что из своей ямки неслышно нашептывает текст пьески. Сейчас должна вступить в диалог Марьюшка. Тонявая, плоскогрудая, с воротничком, туго застегнутым под худенькой шейкой, она походила на монашенку в миру. Я увидел, как сжались ее сизоватые губы, сошлись в нитку, и понял, что мать обиделась вдруг, и оттого, что не смогла сдержать сердца, насуровила его, сильно встревожилась.

Ей, душевнице, так хотелось бы при конце жизни всех любить, никого не обижать, всем поддакивать, но вот не удавалось побороть норова, приструнить его. Мать сухо сказала, обижаясь за меня:

– Вот ведь жизнь как заплелась. И не расплести умом. Старые повредились головою, а что с молодых взять? Все растряслось туды-сюды, все побежали по сторонам, как тараканы. Все нараскосяк, ворота полы, сами по себе решили жить, и в груд не собрать. Доброго бы пастуха нать...

– Или ты, Стяпановна, старуха? – басила Анна. – Хоть, я тебе Левонтьича засватаю? Ему восемьдесят, а он, как жеребец стоялый у станка. Старуха-то егова уж пятый год лежит, под себя ходит. Он по бабе-то шибко соскучился. А тебя бы прибасить, так еще, как куколка. Там притачать, там притянуть, свеклой рожу намазать, брови – угольем, волосы – сажей. Будешь невеста...

– Да ну тебя, Анна, – махнула рукой моя Марьюшка. – Не понимая шуток, она вдруг застеснялась и пуще прежнего насуровилась.

Я тихонечко приснул в кулак и вдруг обрадовался неистребимости человеческой природы. И чего хоронить допрежь времен? Невея сама подберет в свой черед. А пока бродит старая от печи до порога, уголек-то на сердце тлеет-тлеет да вдруг как пышкнет и выдует из сердцевинки огонька. «Бедные вы мои женочки, – пожалел я старух. – И как по вам круто прошла жизнь, через какие терки и сита пропустила, какого лиха нагрозила торбу – тащите, бедные, хоть волоком, хоть катом. А золотишку-то в груди не задует никакой пургой».

– Чего рукой-то машешь? – уже на полном вроде бы серьезе подхватила Анна, загремела на всю избу, – Сын-от пропащий, дак себя хоть не губи. Тебе сколько лет?

– По пачпорту дак – восемьдесят или поболее того. А годов столько, сколько здоровья. И вовсе не надо знать, сколько лет. И думать не надо. Родился когда-то, рос и вот умер. Так нашто годы знать? Для потехи все, – рассудила Марьюшка, нервно подхватила в волосах коричневый гребень, причесала и без того гладкую голову, причепурилась, подобралась тельцем и, словно бы опомнилась, сунула под краник чашку и нацедила чаю. – Ты кушай, Анна, не стесняйся. Столько пирогов настряпала, а мой-то худорылый не ест ничего. Также скотине срю в помои.

– А как со здоровьем? – не отступалась Анна, взявшись сватать вдовицу за Левонтьича, у которого в кровати лежит пусть и параличная, но еще живая жена.

– А ничего со здоровьем, слава богу. Вот гриб не прошел, осадок сделал, наверное.

– Так лежать надо...

– Лежать-то хуже. Надо ходить. Чего надо, в нутре само выболит. Чего теперь лечиться? Теперь умирать надо. Я решила так: заболею крепко, увезут в больницу. Им план надо выполнять. Будут таблетки давать, а я в шкапик положу, пить не стану. Стары люди мешают. Такой закон жизни. Пока ходят, они не должны мешать. – Марьюшка говорила тихонько, как бы из самого нутра выковыривая редкие слова, полные смысла.

Вот сидят подле две бабени, одна старше другой, обе крестьянских кровей, но по своей-то сути скроены из разных стихий: одна – огонь, полымя, молонья, сама гроза; другая – вода, вешний подснежный ручей, вроде бы с трудом пробуждающийся встречь реке сквозь насты, сугробы, лесные крепи. Но ведь не давят друг друга, не покоряют, не пригнетают долу, но приплетаются друг к дружке в неразрывный узел.

Я вдруг представил, каково мне придется без матери, и сердце вскрикнуло.

Словно боясь потерять ее тут же, я выглянул из-за самовара, чтобы утвердиться в Марьюшкином присутствии. Мать сидела с раздумным от говори лицом, а в блеклых глазах, полных кротости и внимания, не иссякала постоянная слеза, так и не пролившаяся наружу.

Вот выпестовался же земной ум сам по себе, по долгому размышлению, в тяжких трудах возле печи на пекарне, в соседстве с ярким огнем, у квашни тестяной и хлебов, и сытный дух каравай, как потворство плоти, бесконечное напоминание о ней, не убил желания созерцать и размышлять.

Но разве эту старуху назовешь бескультурной, хотя она прошла всего два приходских коридора. Этой коренной, изначальной способности к внутренней жизни, к размышлениям об основах бытия так мало нынче в молодом народе: словно бы тоскующий порцельник-интеллигент присвоил себе право мыслить. Но ведь все главнейшие представления об основах духовного устройства, о совести, братолюбии, полноте реального и занебесного, о вертикали духа и т. д. возникли и дали неистребимые ростки именно в глубине простого народа, а мыслители, подслушав, лишь подхватили, расширили, но позабыли возвратить додуманное. Но зато в благодарность нанесли всякого духовного сора, поразили мути, понасеяли пороков, окунули Русь в бездну пошлости и во всем этом смраде обвинили самих же родителей, похулили их самыми нелестными словами, лишили праведного света, забыли на бездорожье с потушенными свечными огарками...

Бедные, бедные нигилисты и отщепенцы, живущие заемным умом. Народ-то сдюжит: покряхтев и порастеряв болезных и траченых душою на дорожных хлябях, сцепив зубы, вылезет он из трясины на Божий свет и заново наберется доброго тела. А вы-то, вы, немилосердные, что творите с собою, когда на родителей своих, еще живых, наступили пятою, как на мертвых. Думаете ли вы своим дряблым умишком, что если сомневаться в своем народе, в его достоинствах, низить его, линчевать прилюдно и петь радостные стихиры на его могиле, то за что, за какую крепь вам тогда удержаться над пропастью ада, в чем сыскать земное упование?

Нечаянное сватовство не удавалось, Марьюшка этой забаве не подыграла, и словоплетенье само собою иссякло. Мертвая тишина на миг воцарилась в избе, хотя в моей голове все еще стоял гул. Про такие минуты в народе говорят: «Милиционер родился».

– Вот вы спитя, а того не знаете, что к Зулусу милиция с района нагрянула и ружье у него отняла. Сейчас Зулус землю на гувне роет, зверем рычит. А мой-то, а мой... – Анна неожиданно заперхала, подавилась слюною, скосила глаза на открытое окно и притушила бас.

Разговор принимал неожиданный оборот. Наверное, Анна вспомнила, зачем привернула к нам, и сейчас снова разожглась. Мне же хотелось бы блокнотик приткнуть тайно на колени да записать живое русское слово, кое самому вовек не придумать, а в народе оно вроде бы дуриком родится безо всякой натуги.

– Раз приезжала, значит, по нужде, – рассудила Марьюшка, не любопытствуя в подробностях.

– Ночесь спать не дали, разбойники. Как с цепи сорвались. Под окнами бродят и бродят. Глаз не сомкнула. – Соседка с прошупкою уставилась на меня. Я подмигнул. Анна некрасиво улыбнулась, большой рот, полный железных зубов, разъехался.

– Палец не суй – перекусят. Ой, Стяпановна, лихие дни настают. Люди-то выродились, прямо выродки. Мой-от лешак, ой! Вечером вдруг стрельба. Ну, мой-то побежал к реке. У него служба. А там зять Зулуса пуляет со своей бабой... Артём-от мой, голова ломтём, кричит: нельзя стрелять. Хотел ружье отнять. Пьяный дак. А те ни в какую. Прискочил домой горячий, да сразу к бигадирке звонить в милицию. А с утра участковый прикатил, ружье у Зулуса отнял. А тот горячее моего: убью, говорит. А ему человека убить, что муху... Пашенька, рассуди, ты человек умный. Ведь перебыют друг друга. Этим все и кончится...

– Я-то чем помогу?

– Поможешь,поможешь. Я бутылечек тебе дам. Припрятан. Не успел Гаврош мой выжорать. Слово за слово... Только ты Зулусу поваживай, не загроубляйся... Мой-то ведь дурак, двух слов не свяжет.

– Пусть идет с бутылкой и повинится...

– Не пойду, говорит. Я, говорит, его в тюрьму упрячу.

Мне не с руки было вступать во вздорное дело, в котором, если вдуматься, каждый по-своему прав, и на чью-то одну сторону сметьваться не хотелось. Мужики-то замирятся вскоре, а на меня станут коситься не один год. Известны мне эти деревенские базары, когда спорщики вроде бы салазки гнут и готовы глаза выткнуть друг другу, угрюмо ненавидя до конца дней, а смотришь через час – уже не разлей вода, и нет на свете ближе людей. Если бы не истирались попросту все эти свары и дикости, то деревня уж давно бы изжилась и пошла в прах.

Подумалось: не случайно баба Груня во сне приходила, на тот свет звонила благоверному и просила поговорить. Знать, разминулись на небесах, затеряли следы и вот тоскуют, горемычные, и на земле-матери средь живых ищут подмоги.

– Он ведь трус, Павел Петрович. Гаврош пьяный только орет, а тверезый – серку в кусты. А ты человек ученый.

– Сходи, Паша, сходи, – посоветовала мать, – Язык не отсохнет. Деревину с дороги убрать – сорок грехов скинется. А тут не деревина, живые люди.

Вдруг медуница залетела в полое окно, загудела, завилла узоры над печеным, положила глаз на творожник, вот и божьей твари сладенького захотелось. Баба Анна замахала рукою, запогоняла жужалицу, а самой боязно, как бы не вляпала под глаз.

– Кыш-кыш, проклятая. Поди прочь от меня. Опять раздует рожу, как у крокодила! Ой, Стяпановна, гоникасть эту, гони заразу несправедную!

Марьюшка погодила, пока успокоится медуница на пироге, и принакрыла ее тряпицею, ухватила в щепоть, как хрустальную рюмочку, и бережно вытряхнула за окно.

– Лети, Божья душа, да больше назад не прилетывай. – И засмеялась дробно, как закашлялась. – Вот ведь всякая тварюшка к сладкому пехается, абы к хмельному...

– Давай, привораживай эту окаянную скотинку, так скоро и саму из дому вон, – сказала Анна печально и остекленела взглядом.

7

Груня Горбачева по прозвищу Королишка представилась прошлой зимою.

Еще два года тому старенькая совсем пропала ногами. Была Грунюшка рыхлая, деbeatая, светлая лицом, с немеркнущим улыбчивым взглядом лазоревых глаз, словно бы в них постоянно горели фонарики. Губы у нее были сердечком, на щеках ямочки, седые прядки волос, выбившихся из-под веселого цветастого платка, колыхались над ушами. Даже внешним видом Грунюшка была сама кротость. Крепилась она долго, до последнего держала корову, ибо терпеть не могла козьего молока («на псину отдает, на псину»). В Жабках все по какой-то родне идут, и Грунюшка Анне Бариновой тоже числилась за двоюродницу. От ее бодучей коровы и пострадала Королишка...

За год до кончины Грунюшка вовсе села на лавку, а в кротком лучезарном взгляде впервые стала промелькивать печаль, словно бы старая с небесных страниц вдруг считавала свою судьбу и потихоньку привыкала к приговору. Бывало, идет Анна мимо строевым шагом (ведь везде поспеть надо), но не преминет двоюродницу подколоть: «И что ты, Грунька, рассолодилась, как дырявая квашня. Или ходи поболе, или жори помене». При этих словах на полное лицо Грунюшки набегала тень, и болезная кротко отвечала: «Да не кричи, Анка, не глухая. И не хвалися, едучи на рать. Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет... Ой, милушка ты моя, как бы я хотела поись. Взглядом-то, кабыть, все бы съела, а желудок не примат». – «А как титька твоя, не болит?» – «Титьку отрезали, и титька не болит. Душа болит, что еще молода я сердцем, а жить-то осталось мало».

Худо случилось таким же летним парным днем. Бодучая корова Анны Бариновой возвращалась с лесного выпаса и, наверное, ошалелая от оводья и дикого гнуса, вдруг кинулась бежать по деревне и случайно безумным взглядом угодила на Грунюшку, мирно посапывающую с газетой на коленях возле своей избы. Нравная скотинка и поддела рогом Грунюшку и, будто ножом, почти напрочь отсадила титьку, та повисла лишь на ошметке кожи. Грунюшка не возопила на всю деревню, не заблужила на Анну, устало волокущуюся по деревне, не наслала на нее проклятий, но лишь прихлопнула оторванную титьку и залепила лоскутом газеты «Мещерская правда». После-то мужики зубоскалили: «Прикрылась Королишка правдою, дата оказалась х...»

В те дни Грунюшка жила одна, и как ни выпроваживали ее соседи к врачу, она наотрез отказывалась. Потом грудь загноилась, в рану попала грязь. Гаврош за бутылку самопальной водки отвез болезную на лошади в участковую больницу. Обратного вернуть участливых не находилось. Было, правда, одно попугье, но парень запросил бутылку. «А где я ее возьму, сынок?» – «Ну и лежи, старая. Некуда теперь спешить».

Я же случайно оказался в Тюрвищах в участковой больнице. Привез на запорожце больную из Жабок. И мне мужик в больничном халате, из-под которого выглядывали тесемки кальсон, говорит: «Тут бабка из вашей деревни. Уже неделю домой оттаргать некому».

Грунюшка появилась на крыльце с узелком. Остановилась на верхней ступеньке, вглядываясь и не признавая меня. Вся приувыдавшая, встрепанная, чулки обвисли на лодыжки, на тусклые калоши. Никому теперь не нужная, отдавшая жизнь колхозу и детям...

«Ой, Пашенька, сыночек, да как ты появился тут? Не иначе Господь тебя ко мне прислал».

Трясущейся рукою, опираясь на мое плечо, едва спустилась с крыльца, с трудом уселась в тесную машинешку, словно бы втискивая себя по частям: туловище, ноги, непослушную голову, руки с еловым, отглаженным ладонью дрючком...

Столько благодарных слов я, пожалуй, больше в жизни своей не слыхивал и навряд ли услышу.

* * *

Что Нюхча моя родная, что Жабки рязанские словно бы на одну колодку сшиты с той лишь надеждой, чтобы только ночь пережить да день перекантовать.

Возникшая, как однодворица, Нюхча, считай, уже триста лет стоит и все не помирает, правда, ссыхается, как шагреневая кожа. Жабки – те помоложе. Была деревня Жабино, от нее сбежали на выселки две семьи лет сто пятьдесят тому назад, и от них пошел хутор Жабки. Затаились изобки в травянистой кочкастой пойме, как пятнистые жабы, готовые зарыться на зиму в землю.

И в домах-то не скоплено богатства: по крохам наживалось лишь то, без чего не обойтись при нужде. Отсюда – беззавистное житье, умение обходиться малым, успокаивая себя тем, что, де, с собою на тот свет не унесешь. Русский крестьянин недалек от того бывалого солдата, что мог щи из топора сварить. И какое огромное время истлело при таком немудрящем житье, сколько потомства ушло за порог в бескрайние пространства. Во всем видна бедность, но та скудость, в которой все учтено до мелочи, чтобы можно было перемочь крайнюю тягость, хотя брюхо и прирастет к хребтинке, но душа-то останется вживе.

Так я привычно размышлял у соседки, наверное, в тысячный раз машинально разглядывая убранство кухни. Старые мебелишки хрущевской поры, в углу стол с лавкой, печь в пол-избы, у двери на крюках висят фуфайки и рабочий сряд Гавроша, в шолнуше за занавеской, кряхтя, обряжается Анна Тихоновна, давит в ведре вареные картохи, хлебенные корки, режет капустный лист и крапиву. Мне виден лишь оттопыренный зад, обтянутый посконной юбкой. Пора скотину доить, поросенок визжит в куту – есть подавай, куры сбились табунком у дверей, ждут кормилицу, скоро и пыльные барыш притащатся с тощего выпаса, потупив к земле кучерявые упрямые головы. Семьдесят старухе, преклонные года, пора бы и на лавочке посидеть, как в городах, посудачить, полужгать жареных семечек, накопить жирка на пузце на всякий трудный случай. О валяную калишку, выгибая спину, ластится пестрая кошечка, с холодильника свесил вниз безухую изодранную голову старый котяра, похожий на изношенный хозяйский валенок. Почти такой же валенок выглядывает с печи. Кошечка почуяла близкое парное молоко, а котофей – тот ждет мясных щей: когда хозяйка открывала заслон и сымала с горшка чугунную сковороду, чтобы посмотреть, каково уварилось, то из чугуника выпорхнул такой вкусный сладкий парок, что Васька совсем сомлел. «Он, как солдат, ему крутяку подавай, чтобы ложка стояла», – любит ласково приговаривать Анна, наливая щец в черепушку. Сыскалась бы и для собаки костомеха, но Байкал весною умер от старости. Гаврош дохаживал пса в благодарность за охотничьи труды.

Пес последние дни все искал холода, ничего не ел, и вот на первое мая протянул ноги. Гаврош заплакал и с братом, прибывшим в деревню на праздники, погрузил друга своего верного на двухколесную телегу и оттащил на поляну близ Глухого озера, где прежде всегда отдыхали, возвращаясь с охоты. Меж кореньев старинной березы выкопали ямку, завернули пса в покрывало и закопали. Вернулись домой, пили горькую прямо из горлышка, поминали, Артём плакал навзрыд. Мать после того не раз укаливала сына: «Ты по отцу слезинки не выронил, по мне не заплачешь, а по собаке уревелся». – «Она лучше вас», – ответил тогда Артём, еще отпил из стопарика и, положив на грудь кошечку, уснул в слезах...

Я пошел спасать Артёма, и надо было узнать подробности. А куражный мужик, вольно распластавшись на печи, досыпал то, что не взял за ночь. Старуха смекнула, в чем дело, ушла в горенку, долго копалась там, памятуя, что подальше положишь – поближе возьмешь, и, судя по слабому стекольному звяку, заховала она не одну посудинку, и где-то возле хранится и часть похоронного запаса.

Завернув в фартук, прижимая бутылку к широкому животу, Анна прислонилась ко мне и тихохонько перекатила склянку в мои готовно подставленные ладони, не забывая заслонить свою затею пригорбленной спиной. Но Гаврош, этот лиходеи синеупый, тут же зашевелился на печи и, как по команде, отпахнул занавеску, свесил вниз лохматую голову, прислеповато всматриваясь, кого же это принесла в дом нелегкая.

– Слышу песнь веселья и сладости жизни. Бабка, помоги умирающему. Трубы горят.

– Я тебя опохмелю метлою по губам. И питье будет, и закуска.

– Пашка, скажу тебе прямо. Живи один, больше не женись. Бабы – они все скотины... Ты посмотри на нее, сын на глазах помирает, а она ни ухом ни рылом.

– Где я тебе возьму, непутня? Пензия на один хлеб да тебе на курево. Две пачки в день просадит.

– Для живого сына ей стакана жалко, а на мертвого ящик купит... Паша, любишь ты свежачка, роешься в девках, как в щепе. Да все равно нажгут они тебя, насадят глаз на ж... И не охнешь. Если надумаешь, дурачок, забракаться снова, зови немедленно меня. Я прилечу. У меня все схвачено... Баб-ка, по-мажи на язык, по-ми-ра-ю...

Артём закатил глаза, захрипел, рука бессильно опала с лежанки, и, кажется, даже ногти посинели. Но бабку за пятак не купишь.

– Гали, сухорылый, гали больше. Меня, старую, не проведешь. Пьет, но не ест. Сколькой день не ест. Один нос остался. Эх ты, злыдня косорылая.

И не обращая внимания на сына, Анна ушла с пойлом в хлев, а через полчаса вернулась с ведром молока, принакрытым марлею. Нацедила фаянсовую кружку, молоко вспузырилось, взялось душистой шапкою.

– Попей, Пашенька, пока парное. Все думаешь, Павлуша, и нисколько голову не бережешь. А ведь не казенная. Моему бы кто голову поставил. Эту бы отрезать к чертовой матери, а пришить новую. Сейчас ребятишек всаживают в чужое брюхо: носи и рожай. И почто бы ума глупому не всадить? У одного лишнее отрезал, другому бы вшил.

– Дура!.. – остервенело закричал с печи Артём, понимая, что мать не переломить и, значит, ничего не отколется. А голова бо-ли-ит... Надобно слезать с печи и скидываться в деревню да ловить слабого на хмельное мужичка, что при деньгах, но без женского надзора. – Дура, ты не понимаешь, чего мелешь! Это ведь голова, не ж... Это у вас, у баб, все перепутано, все не как у людей. В могилевскую пора, а вы все воздух портите.

– Это ты, негодящий, зря живешь. Ни щетинки, ни шерстинки.

– Да я накую, сколько хошь. Если хочешь знать, у меня в каждой деревне. Да...

Мать внимательно взглянула на сына, не поверив, покачала головою:

– Ага. Накуешь от козы-дерезы... Вот Ванька Горбач, покойничек, был коваль. Они с Грунюшкой поженились перед самой войною, он успел ее с животом оставить. Вернулся домой косоруким и еще шестерых настрогол. Да Грунюшка через год по два раза на аборт бегала. До последних дней, пока Ванька жив был, жалилась на него. Говорит, мой-от за ночь раз шесть меня сшевелит. Дай, говорит. Я ему: отстань, идол, дай поспать, мне скоро скотину обрядить. А он пристанет: дай и дай. И выстонет ведь. А сам косорукий, и в хребтину словно лом вставлен... Вот, Пашенька, какие мужики были. А нынче ни вымени, ни племени; ни пехать, ни пахать. Вот и скудеет земля народом, – вздохнула Анна. – Да и Москва, проклятухая, все соки из нас выпила. Кто остался в деревне, тот уж никуда не гожий. Хоть ты, Павлуша, посмотри на моего: бросовый товар.

– Зря ты сына хулишь, – заступился я за Артёма. – Он красивый, с него бы картины писать. Был бы я художником... Ну выпьет когда, так кто нынче не пьет? Ведь жилы на кулак мотают, Антоновна, на тот свет живьем выпроваживают. Ну как тут не запить?.. Ты не гноби его сильно-то. После жалеть будешь.

Наверное, что-то такое жалостливое услышала старуха в моем голосе, что вдруг умягчила колючий медвежеватый взор и с особым, истинно материнским чувством уставилась на сына, словно бы увидела его после долгой отлучки. Но ничего нового для своего сердца, ублагающего, не нашла и снова затвердела мужиковатым лицом. Гаркнула на всю избу:

– А что ты в нем нашел, дураке? То и есть: Артём – голова ломтём. Знать бы, дак из брюха бы не выпустила. Шерстью оброс, как леший, зубы не вставит, хуже древнего старика. И кому такой нужен? Наш Левонтьич перед ним куда краше лицом. Кажийный день рыло скоблит, не ленится. Вот его бабы и любят... По сей день казню себя: и на кой рожала? Ведь чиститься пошла в Тюрвищи, да. Думаю, пятеро по лавкам, куда еще-то? А попалась на пути тетка из Немятово, монашена. Я ей-то и скажись, так и так. Ступай, говорит, обратно домой, не бери греха на душу. Там-то, показывает на небо, не простится. Где пятеро, говорит, там и шестой прокормится, по крохам насобирает, с чугунов налижется. Ну я, дура, и послушалась, и по сей день себя казню...

Гаврош спустился с печи, уселся костлявой задницей на приступке, засмолил сигаретку, жадно затягиваясь. Лицо белое, покойническое, под глазами фиолетовые желвы, на скулях выметалась неряшливая, кустами, щетина, губы опухли с похмелья и взялись сыпью. Слушал понуро, качал разношенным, еще отцовым валенком с кожаными обсоюзками. Вид у мужика, верно что, был неживой, доходяга сидел, вовсе опущенный человек. Глаза потухшие, покрытые слюдяной пленкою, за которой едва угадывается обычная младенческая синева.

«И, эх, милоч, – подумал я, искренне жалеючи Артёма, – и на что ты расходуешь себя, с какой непотребной безумной яростью сжигаешь жизнь, без всякой пощады обсекая завещанный Господом путь». Глядя на мучающегося с похмелья мужика, я себя вдруг почувствовал праведником, который ни минуты завещанной не извел по пустякам... Боже, как мы возгоржаемся вдруг, приценившись к падшему, и какой нехорошей радостью, почти торжеством, загорается сердце. Так сколько же черствости в очервивленном умственном человеке, сколь извилист он душою, и потому – порочен.

Гаврош пристально уставился на меня, отыскивая союзника, и сказал хриплым с перепоя голосом:

– Посмотрел бы я, как ты без меня проживешь, бабка. Сена поставь. Дров в лесу насеки на всю зиму да наколи, да на горку свежи. А кто колодец рыл? А погреб? Без воды бы сидела. А по дому: там упало, там покосилось, там пропало, с одной изгородью каждый год сколько заботы. Картошку посади, выкопай, навоз вывези в поле, скотину забей... Остальные-то – в городах, приедут, чтобы погулять да выпить. Они порато вумные, а я – дурак. Вот ты меня и казнишь... Ну, женюсь, так тебя, брухливую, невестка в угол загонит. Радуйся, что я возле, словом есть с кем переброситься. А ты мне смерти сулишь, дура набитая.

Он говорил, заикаясь, и я был согласен с Гаврошем, и во всем оправдывал тут же. Ну как не запить? Без семьи, без детей, для чего жить? И жалея соседа, я пуще того плакал по себе, невольно перенося его судьбу на свою, его расхристанность – на свой характер, его тайные муки – на свои ночные страсти. И все же Гаврош был цельнее меня, ибо жил на земле, ни от кого не зависел, только от своих потрескавшихся измозоленных рук, не знавших безделья. Несмотря на всю свою пьяную расхлябанность, он стоял на ногах куда плотнее меня, трезвенника, ибо каждый мой шаг в городе зависел от чужого благоволения: в институте, в метро, в магазине да и просто на улице, кишасей народом, где каждый в своем безразличии готов был смешать меня с грязью. Я был куда ниже его по практичности, ибо всякая неустройка в государстве могла живо согнать меня в могилу. Гаврош же был истинным мужиком, мог прокормиться малым, проночевать у лесного костерка студеной ночью, подсунув под голову кулак, насытить утробу тем лесовым, походным, что Господь подкинет: грибом, пропеченным на огне, прокишей осенней ягодой, рыбой, добытой в ручье и поджаренной на углях. Мы, городские, так отвыкли обходиться малым, так далеко отшатнулись от матери-сырой земли, так испотешили

свою дрянную плоть, что в погоне за удовольствиями готовы спихнут в Содом и Гоморру весь род человеческий, чтобы удовлетворить, насытить похотствующую утробу...

И чем я лучше Гавроша, чем чище и возвышеннее? Лишь тем, что обхожусь носовиком, а не сморкаюсь с помощью пальца, что пью коньяк из тонкого хрустального бокала, а не «самопал» – гранеными стаканами, что зарос в книгах по самую макушку и по ним, темным и часто невразумительным, полным искуса, устраиваю свой дух. А Гаврош легчит наивную душу под разливами зорь, под всплеск щучонки в омуте, под гомон хлопотливой птицы, сбивающейся в стаи, под клохтанье глухаря и сопение свирепого кабана, пробирающегося темной ночью на овсы. И, стоя у звериной тропы, вроде бы вслушиваясь в томление ночи, он невольно нет-нет да и вскинет голову в тягучую бездонную прорубь неба, где потрескивает, сеет голубые искры Большая Медведица, низко зависшая над округой, возвещая о распутице и близких снегах...

Анна теребила передник, собирая в щепоть налипшую сennую труху, я же ковырял чужую клеенку на столе, буравил ногтем дырку. Старуха казнила сына, порой сулила ему могилки, но прижала-то именно его, заскребыша, кому досталась такая незавидная судьба. Чувствуя свою непонятную вину, Анна забормотала, обкусывая слова сияющими железными зубами:

– Ой, сына, сына... Помру я скоро, ну и куда ты без меня, горе ты мое. Заранее готовь гроб. Крест-то Павел Петрович задарма отдаст... Ага, был такой Пашечкин. Вырыл на кладбище землянку, жил в ней, а рядом могилу приспел. Так и завещал: похороните в ямке. И гроб приготовил, и крестик. Все честь по чести. Ходил он по деревням прошаком, кусочки собирал. А вместе с ним жили восемь собак и восемь кошачек. Ну помер, его и похоронили в твоей ямке. И так были собаки с кошками – ну просто ужас. Повыли-повыли и куда-то все поразбредись, можа, и пропали какие-то возле ямки...

– И что ты мне мозги компостируешь... Развела скотины полный двор, вот и горбаться, – пробурчал Артём, тяжело перемогая похмелье. Слова прилипали к языку и походили, наверное, на прогорклую жвачку, которую надобно выплюнуть, да сил нет.

– Немтыря! За-го-во-рил? Отворил пасть-то! – гневно вскричала мать, особо не чинясь с сыном, не подбирая учтивых выражений, – Он мяса не ест, молока не пьет... Да ему только накладай. Вот сейчас проспится, скотина, дак только накладай шесть тарелок кряду.

– Ничего мне не надо, – угрюмо повторил Артём. – Мне бы соленого огурца, корку хлеба и краник с вином...

Он нервно закурил новую сигаретку и, по-стариковски шаркая разношенными валенками, побрел в сени.

– Я помру, а ты живи, вот! – басыла в спину ему старуха. – Пашечкина хоть собаки да кошачки обвыли. А тебя никто не оплачет...

– Дура...

Грохнула дверь. Старуха, сбита с мысли, тупо жевала губами, смотрела на меня диковатыми, глубоко посаженными глазенками, в которых стояла застарелая боль.

– А мне ведь его жалко, пуще всех, наверное, жальчей, – призналась Анна, понизив голос. – У меня ведь шестеро, и всех жалко, как пальцы на руке. А горемышного-то пуще того жальчей... Ой, с детьми, Павлуша, так тяжело, а без детей плохо. Вот хожу, к земле клонюсь, а как съедутся домой, так на два метра, кажись, вырастаю. И не хожу, а летаю... Он так-то добрый, – вернулась мыслями к Артёму. – Последнее отдаст, с плеч сымет, а отдаст. Егерем работает, ведь ни мясинки в дом не притащит. А сколько, бывало, набьют лося, кабана, целые тракторные телеги. А матери хоть бы на зубок...

Входя в избу, Артём расслышал последние слова; он уже отмяк, чуть подобрел, тяжелые, как у матери, складки на лбу поразгладились, в глазах вытаяла жиденькая синева.

– Не положено, мать. Хочешь, чтобы меня в тюрьму?

– Какую тебе турьму. У хлеба да без крох.

– Не положено. Я при власти... Да и мясо человеку вредно. Так врачи говорят, – ухмыльнулся Артём. – А лесное мясо особенно тяжелое для желудка. Пучит, заворот кишок может быть.

– Ври давай... Коклет бы накрутила иль в печи под сковородой напарила со стыклой. Из кабанятины коклетки сладкие и пахнут хорошо, – сказала Анна жалобно, будто канючила, выманивая у сына милостыньку.

Артём выудил из банки малосольный огурец, отвалил от буханки толстенный ломоть ржанины, ободрал чесночную головку и, опершись локтем о стол, требовательно уставился в мать:

– Ну что, бабка, сама поставишь или вместех искать будем?

– А ты клал, чтобы искать? Ты клал? Ой, дьявол, ой, дьяволина, – распушилась старуха. – Что у вас, у пьяниц, кишки-то – железные? Сдох бы, да закопала бы, отвыла разом, чтобы не мучиться. Все бы на одном дне.

И ни один мускул не дрогнул на лице Гавроша при этих суровых словах. А может быть, умом он и сознавал свою сволочность да и привык к материным заезженным песням, так что и не терзали они лесового, приостывшего, призакоптившегося у походных ночлегов сердца.

«Брухливая бабка? – да, больно ругачая и кусает хуже пчелы? – да», но ведь накипело, до печенок проел старуху проклятым винищем, да и какой матери хочется, чтобы ее сын, ее кровиночка, вовсе сошел с катушек и потерял себя. Разве для того растила, разве для такой доли недосыпала и недоедала, горбатилась до последнего дня, до кладбищенской насыпушки.

Может, подобного и не думал Гаврош, это я за него домислил. Но я видел, что разговор привычно втягивался по спирали в новый круг, слегка меняя краски, притухал и вновь распалялся до жаркого пламени и так мог тянуться до позднего вечера, пока у кого-то из тяжущихся не сдадут нервы. Бутылка жгла мою пазуху, хотя давно отпотела под рубахой, и казалась ворованной. Я догадывался, что Гаврош расчуял про нее, но не мог подавить в себе странной врожденной деликатности и прямо напомнить о вине. Это мать можно терзать и мучить, на то она и мать, чтобы снимать с нее последнюю стружку, выпивать последнюю кровцу.

А Павел Петрович – человек ученый, птица высокого полета, с ним знаются в столице люди знаменитые, кого часто показывают по «телеку». Однажды со мною, как с духовидцем, был разговор на экране, на всю страну показали. Ну был и был, мало ли кому подфартит шатия-братия, оседлавшая эфир, видимо, ей почудилось, что я близок к Спасителю и при случае могу поручиться за пройдоху Клямкина, что вел со мною разговор, и выцыганить ему теплого местечка в раю на халяву. Ну, приехал в Жабки. И первый же встречный, а то был Иван Длинный, говорит, радостно осклабясь: «А я тебя по ящику видел». – «Ну и ладно... чего там», – смутился я. А мужик приблизился ко мне вплотную и спросил шепотом: «И много ты денег на лапу кинул?» – «Да ты что, какие деньги». Но по блудливой улыбке Ивана Длинного я понял, что тот не поверил, дескать, нынче не подмажешь – не поедешь.

– Чего ты к матери пристал? Не гневи Бога, Артемон. Душу готов вытряхнуть за бутылку. Проспись давай, больше не пей и станешь человеком, – сказал я с неожиданным раздражением.

Словесная толкотня надоела, да и досадная мысль угнетала, что вот надо сейчас бездельно идти к Зулусу и выручать этого обормота, у которого голова ломтём. А чего его выручать, если он сам в бездну стремится, безумный. Был бы какой толк.

Артём не обиделся на меня, но клейкая ироническая улыбка искривила рот.

– Ты за меня, Паша, не бойсь. У меня все схвачено. Бог меня без помощи не оставит. Бог меня пасет.

– Богу нет дела до тебя, если в тебе нет божеского...

– Он во младенцах еще с горшка упал и лоб расшиб, бестолковый, – подала голос мать. – И чего с Зулусом связался, злыдня. Он с тобой чикаться не станет, он тебе рога обломает, синепупый. Иди нынче же к нему и мирися, пока живой.

– Чего-чего? – поднялся на дыбки Артём или сделал лишь вид, что восшумел, ибо сам как-то неуловимо съёжился и даже не сдвинулся от стола, будто прикипелый. – Я тут хозяин: и судья, и закон. Зулус еще не знает, с кем связался. Он у меня на цирлах ходить будет.

Артём неожиданно поперхнулся, закашлялся, слюнявый бычок, прилипший к губе, выкинул в окно и тут же выщелкнул из пачки свежачка.

– Вот курилка, кадит табачиной целый день без передыха, и никакая гнетая не придавит.

– Худой мир лучше доброй ссоры. Замиришь – и дело с концом, – сказал я. – Позвони в милицию, дуралей, и скажи, что ошибка вышла, что снимаешь свое заявление. Ну стрелял парень из ружья по банкам, ну баловался дурак, так Зулус тут при чем?

– А при том... Ружье надо хранить в сейфе, понял? А сейф должен быть под замком. Чтобы по чужим рукам не шлялось. Долго ли до беды? Наколбасят – потом расхлебывай. Ружье раз в жизни само стреляет...

– Замиришь, Тёма, прошу тебя, – неожиданно жалобно, любовно назвала сына Анна, и в глазах ее под блеклыми, куцыми бровками зарыбила водица. – Не огрубляйся с ним, сынок. За ним же горя ходят...

– И пусть ходят. Хоть поскорее за собой утянут...

– А что за горя, Анна Тихоновна? – Прежде эти слова как-то отскакивали от меня, а тут зацепились и пробудили любопытство. В них прорисовывался знак беды, знак судьбы, предначертанность жизненного круга, из которого не выскочить. Нет ли здесь логической системы сбоев, и это заклинание, сказанное однажды, и есть ключ к познанию грядущих событий и остерег от будущих злоключений...

– Жил у нас мужик Снегирёв Андрей Николаевич. Построил он крупорушку, просо драл, гречиху, к нему народ-то и пошел со всех деревень. Значит, всем нужен сразу стал. Его и раскулачили в тридцать втором, мне мать так рассказывала, и сослали на Урал вместе с семьей и еще трех братьев с има. Братья так там и померли. А Снегирёв Андрей Николаевич перед самой войной пеши домой отправился с Урала на Рязань. Не знаю, спустили его или самоволом удрал? Старшие дети те сами шли, а младшеньких – одному год, другому три – тащили на руках. Грунюшке-то было девятнадцать, поди. Она с двадцатого будет, а я с тридцатого, да. А голодно было. Ну, где побирались, где подрабатывали, где на полях накопают воровски. Путь-то не близкий. Думали не дойти. Решили малых-то на дороге оставить. Кто ли подберет. Так и так помирать. Оставят, а те ревут, «мама» кричат. Мать взмолилась: Андрюша, заберем. Вот не умереть, дак. Ведь все выжили. И к осени, однако, добрались до Жабок, здесь зимовали в чужой бане. Андрей Николаевич подался под Москву, говорит, устроюсь и к себе заберу. И на войне погиб в первый же год. А Грунюшка выскочила за Горбача, и родился у них сначала Митяй, а после Федяй, ну Зулус этот. И пошто его Зулусом прозвали, не знаю. Знаю только, что сердитой больно, суровой дак...

А была у нас в Жабках знахарка, Фёклой звать. Ворожить умела, да. Она и бабила. И когда принимала Федяку, нашла у мальчика родимое пятонышко, будто на крест похожее, только вниз головой.

А эта Фёкла страсть любила самогоночку, с двадцати годов пристала к винцу и так замалировалась, что и в могиле не испортится. И вот по пьянке просказалась: «За Федькой Зулусом горя пойдут...»

А Зулус-то в Афгане был и оттуда вернулся седой. И принес с собою наган. Уж откуда взял – не скажу, чтобы не соврать. И вот пошел однажды Зулус на реку, а навстречу ему Фёкла. И вдруг говорит колдунья эта: «Что ты в кармане прячешь, через то и горе придет». А брат-то Митяй и спросил: «Покажь, чего у тебя в кармане?» Ну тот и достал наган, дал брату. А тут утка по реке плывет. Митяй-то стрельнул, а за кустами на берегу сидела меньшая дочь егова, и попал ей прямо в сердце. Вот как получилось. Ну Митяй-то в запале наган бросил в реку. А Зулус поскорее уехал в Воркуту на шахты... Горя-то с той поры за ним и пошли.

– А я что говорю? – торжествующе воскликнул Артём. Он даже на миг забыл о тоскующих черевах, о том, что трубы немилосердно горят пожаром и требуют «беленькой», самопальной или на худой конец подкрашенной чаем вонючей самогонки. – Вот она самовольница к чему клонит. А ты мне, мать, рюмку пожалела. Хочешь в гроб всадить?

– Вот и вины вроде бы прямой нет? – вслух подумал я, мысленно отыскивая сбой в судьбе Зулуса. Может, Фёкла и виновата, что наболтала на деревне лишнее и домысленное знахаркою, а может, и угаданное, высказанное однажды вслух вдруг вселилось в Зулуса и стало его «горбом...»

Ну родился мальчонка с суеверной приметой, так у кого не бывает на теле всяческих родимых пятен? Иного во всю щеку украсит такая непотребная синюха, поросшая редкой черной щетинкою, что и смотреть-то страшно, а не то таскать на себе. Господи, невольно подумаешь, и почто ты наслал на младенца такого уродства? Чем же малой провинился пред тобою, чтобы так опечатать его грядущую дорогу?

– Вроде все укладно у них было? – задумчиво спросила старуха, но прогудела, как расстроенный иноземный орган. – Может, через отца-мать так отозвалось? Или через тетку с дядькой? – Анна задумчиво уставилась на сына, обшарила его рано постаревшее маленькое лицо с синюшными волдырями под глазами, с глубокой треугольной складкой в переносье, немые, свалывшиеся волосы, неряшливо опавшие на плечи. Сухорылый, изможденный, он, наверное, больно, жалостливо отпечатался в ее уме, и старуха беззлобно, почти весело, сказала, вроде бы тут же позабывши тяжелый разговор:

– Ой, нажора ты, нажора. Ты у меня за все горя встанешь да и перевесишь. Напишу товарищу Ельцину, чтобы выкатил бочки с вином на Красную площадь и чтобы все вы упились вусмерть разом. В одну яму вам дорога, окаянные...

Анна вздохнула, отправилась в сени, недолго шастала там, шарилась, будто по нужде, в шкафах, потом сбродила в кладовую, в чулан (сбивала Гавроша со следу). Хорошо было слышно, как вздыхали старые половицы, скрипели расстроенные двери и дверцы, брякали и звенели склянки и горшки. Вернулась с четвертинкой, по привычке спрятав ее в передник. Бутылек был заткнут рыжей тряпицей, жидкость светилась мутновато, с легкой голубизною, будто растворили синьки.

– От отца спрятала. Четвертинку-то ему в гроб положила, как он просил, а другую убрала к случаю. На, жори, глотана, да чтоб осадок тебе в кишках дало, огорай, – грустно посулила Анна сыну всяческих бед. Но Артём и не заметил ее наговоров, привычных для него, пустовесных, как опадающая по осени желтушная березовая листва.

Артём не жадничал, не накинулся хватом на стеклянницу еще андроповских времен, но нежно так огладил бочок бутылки, как женское бедро, понюхал зачем-то тряпицу, потом водрузил рядом с огурцом, внимательно взгляделся в тусклую зеленую надпись «Русская водка». Потом отлил чуток на клеенку, поднес горящую спичку. Самогонка вспыхнула пузырем, пламя пошло переливаться по лужице, промелькивать, как дикая зверушка.

– Надо же, огнем горит. Синим пламенем. Вот так и в животе горит, – прошептал Артём, завороченно уставясь в тускнеющее зарево.

– Черти в аду вас так поджаривать будут, – наобещала Анна и засмеялась. – Да вы, окаянные, так замалировались, что вам только бы с одного конца спичку поднести... Ой, до чего вы себя не жалуете, мужики.

– С какого такого конца, мать? Ты на что намекаешь? – высокопарно спросил Артём. – Будто отец не пил, а вон каких мужиков натяпал. – Он приосанился, встряхнул волосами. Много ли винца принял на грудь мужик, и весь ожил, сердешный, воспрянул, встал на крыло.

Но Анна на сына даже не взглянула.

– Вам-то в радость, а нам, бабам, на горе... Уж по пьянке или нет, но у Грунюшки младшенький родился дурачком, не ходил, не говорил. Ей советовали: сдай парня на опыт. А она ни в какую. Раз родился, говорит, то до смерти выхожу. И выхаживала. Отец-то, бывало, на колени посадит Витьку, а Грунюшка с ложечки кормит. Потом он вырос во всю кровать. Его брить стали. Мужик совсем. Двадцать лет жил, ни разу Грунюшка не пожалилась. Помню, придет ко мне, минуту посидит, вдруг спохватится: ой, как там мой Витенька. Она его Витенькой звала... И домой. А каково было ворочать, убирать из-под него. Он уже грузный был, бородой стал обрастать... Зулус приехал с Воркуты, посмотрел да как рявкнет. «И чего себя губишь? Пока держишь трухлявое бревно в доме, ноги моей тут не будет!» А Грунюшка ему: «Ну что ж, сынок, воля твоя да и правда твоя: дорога дальняя, расходы большие, все у тебя дома ладом, так и на кой ездить, только нош мять. Напишешь когда письмишко – и хорошо». Ну, пожил сутки Зулус и уехал в свою Воркуту. Да с той поры и не бывал, пока Витенька не помер...

– И верно, чего уroda держать? Укол дал – и готово, – твердо рассудил Артём, словно бы ему приходилось неоднократно убивать людей...

– А ты бы убил? – спросил я.

– А то... Кормили, мучились, а для чего? Сколько таких по больницам. А надо так: укол дал – и готово. Он больней, врачи знают, что больней, ничего из него не получится. Отец мучился, мать мучилась, сколько сил потратили.

– Вот ты – бобыль, в тебе кровь и не орет. Я ведь тебя выхаживала.

– Я – это я...

– Ты что – Бог, смерть-то раздавать? Возами бы смерть-то развозили, так никто и даром бы не взял.

– Да не о том я, – раздраженно взмахнул рукою сын. – Орешь, дура, на улице слышать...

– Сам дурак. В Тюрвищах мужик было помер. Не тебе ровня. Месяц до пенсии оставался. Сосед ему раз и говорит: «И чего ты ломишь, Михаил, как стожильный. Отдохнул бы». А тот ему: «Вот выйду на пенсию – и отдохну». Ну, жена блины пекла, муж отдохнуть прилег. Четвертый блинок скинула со сковороды, подошла к мужу будить, а он помер. Вот и напекла блинов на поминки.

Артём молча сгреб со стола бутылек со стакашиком, огурец малосольный и – прочь из кухни. Зная, что иду я следом, бормотал скрипуче, ржаво: «Опохмелиться-то не даст. Орет и орет... Жить не дает и помереть не велит».

8

К вечеру похолодало, с реки запотыгивало сырью, в низинах скопился туман, будто молока пролили. Волгло стало, зябко, сумеречно, месяц-молодик рано вытаился по-над бором, светленький, слегка рябоватый, как уклейка. Значит, к дождю.

Лето скатилось с горки и скоро теперь, потарапливаясь с каждым днем, уступит место осени. Как только вскарабкается над гребнем моей крыши большой ковш с ручкой да раскалится аж добела, тут и поджидай листопада, ветра-листодера и моркотных, заунывных дождей. Господи, как время-то промелькнуло: давно ли заехал в Жабки, впервые мать с собою притянул, словно бы на вожжах (так упиралась сердешная), и вот возы заново уряживай и заворачивай оглобли до следующей весны. И не так ли и вся наша непутевая жизнь? – привычно, безо всякого сокрушения подумал я, мельком взглянув на кладбищенские ворота, косо осевшие в петлях, но задернутые батогом, чтобы не шастала скотина.

Дома Марьюшка моя смотрела в телевизор, подавшись всем тщедушным тельцем вперед с таким переживанием, словно там решалась ее судьба. На экране серый волк (этакий русский валенок-полудурок) без устали ловил хвастливого насмешливого зайчишку и никак не мог поймать. Я-то знал, что этого, длинноухого и мосластого, ежедень догоняют все волки мира, но им, увы, суждено остаться без ужина и завалиться под коряжину с пустым животом. Ах, бедолаги-бедолаги...

Мать, как и все ребятишки, прижаливала зайца, а я переживал за непутевого волка. Экая орясина, однако, экий долдон. Не беспокоя Марьюшку, я натянул пиджак, гостевую бутылку сунул во внутренний карман, слегка причепурился перед зеркалом, взбил гребнем и без того невесомый, одуванчиковый пух волос, готовых распрощаться с моей головенкой, тыльной стороной ладони подбил волнистую белоснежную бороду, и вдруг сам себе понравился, может, косой вечерний свет учтиво так для моей персоны упал в зеркало, убрал все изъяны и даже облагородил обличье...

«Русских дураков до Москвы раком не переставить, потому что дуры рожают», – философствовал Гаврош, сутулясь на лавке под ветлюю. Значит, принял на грудь норму. Сейчас будет костерить русское племя и возносить евреев, а после кричать на всю улицу: «Я не дурак!.. У меня все схвачено!» Духоподъемные самопальные капельки, что развозили по деревням сердобольные барыги, творили свое дивное дело. Все кособочилось от них в голове и принимало чудные очертания. Растревоженная печальная душа искала обидчика, и взгляд, конечно, падал на ближнего, кто корячился в упряжке возле и изрядно поднадоел своей настырностью и постной убогой рожей. Евреи же носили бриллиантовые запонки, шерстили длинноногих девочек, делая из них потаскух, жрали ложками черную икру, лупили друг друга жирными тортами, играли в казино и чемоданами вывозили валюту в свой волшебный Израиль. Ну как их не полюбить за ловкость рук и за размах затеянного предприятия? Такой огромный пирог разрезали на куски, шутя слопали и не поперхнулись даже. Не горбчатся, не роют носом землю, а значит, с головою ребята, своим умом живут; ну как тут их не уважать?..

Дураков-то везде хватает. Их не пашут и не сеют, они сами рождаются, – подумал я, миновав Гавроша незамеченным. Пусть чехвостят, пусть вытирают о нас подошвы, топчутся по загривам, как в последний час. Ведь жили когда-то на Руси три брата: двое так-сяк, а третий – Ванька дурак. Тот самый, что приручил Сивку-Бурку вещую каурку, гром, молонью и резвый ветер.

И верно, что на дураках у нас воду возят, а после милости просят. Как можно окрестить нашего брата, кого полно на Руси?.. Полоротые, что живут вечно с открытым ртом, куда ворона залетит; полоумные, растутыры, разье... и распи... кого другим словом и не назвать, – такого сорта люди, на кого серьезное дело не возложить, пустят его обязательно с горы. Есть еще дураки и полудурки, от коих можно великого поступка дожидаться, в литературе их обозвали

чудаками, носителями чуда, есть и придурки, что любят нырять в тень, тусоваться под наклеенной личиною, шиковать за чужой счет, но совсем не умеющие ничего в быту. Но есть дурачки и дурочки, дурилы, дуrolомы, дурынды и дурыни, есть дурашки и дуралеи, дурачины и дурачищи. И все это – русские люди особой выкройки, себе на уме, коими полна наша земля, и нет им переводу. Но, кроме них, есть непонятные по природе человечки – блаженные и юроды (уроды), бога ради, кои умеют вещать и видеть на сто локтей в землю...

А сам-то Гаврош, что ходит в умниках, разве не полудурок? Ведь живет у хлеба и без крох, мужик красивый, в полной силе, а без бабы в доме, без детишек, кочует по лесам с ружьем, как леший дух, до сего дня не состряпав себе верного пристанища...

Хорошо, что изба Горбачей в сотне шагов, и внезапную мысль мне пришлось срочно урезать... Ибо я уткнулся в глухие ворота, где не было ни звонка, ни ремешка со щеколдой. За два лета Зулус обиходил своими руками дом, как картинку, спереду обнес фигуристым штaketником, за которым густо цвели георгины, а сзади и с боков загородился так плотно, что и мышь не проскочит. Получилось что-то вроде сибирской кержацкой заимки, маленькой крепостцы, куда чужаку не пролезть, а прошаку не попасть. Окна горели ярко, наяривала разухабистая тюремная песенка, так пришедшаяся по душе новому русскому, сунувшему свой партбилет под застреху рядом с промасленной пушкой системы «наган». На подоконниках ярко, бесстыдно пылали герани, такие редкие в нынешних деревнях и провинциальных городках. Синяя тень, как в немом кино, змеисто струилась в лад музыке за тюлевой шторой. Я беспомощно оглянулся и вдруг понял, что уже совсем темно, для гостей я припозднился и надо поворачивать к дому. Не кричать же на всю деревню: де, впустите! Да, и к стыду своему, только тут дошла до меня бессмысленность моего визита. Чего приплелся-то, заступник, для какого дела? Бутылку на стол, и здрасьте, я ваша тетя, не хотите ли со мною познакомиться? Так растерянно толочся я возле палисада, будто коза на привязи: вроде бы и рядом ивовый куст, и как бы хорошо эту нежную молодую листву схрумкать вместе с гибкими податливыми ветвями, да вот эта треклятая вязка давит на горло при всяком рывке и осаживает назад. Да и зачем тревожить веселящихся людей, если на воле так мирно, спокойно, деревня вся обложена густыми туманами, как обвальными снегами, и редкие огоньки в домах напоминают каюты отчалившего от причала корабля. Вверху ярко горели звезды, и каждая, казалось, приманчиво подмигивала мне, домогаясь ясного ответа на вопрос: «Собираешься ли к нам?»

Я повернулся уходить, но тут штора колыхнулась, из-за нее почти по пояс высунулась женщина и переливисто спросила, не сразу распознав меня:

– Кто тут?..

– Да я это, – нерешительно признался я и только тут вдруг осознал, что прошусь в дом к той самой Тане Кутюрье, которая шьет одежды для ангелов. Удивительно, как случайное сравнение тут же пристало к имени и зазвучало, как французская фамилия, совпав с внешностью женщины и ее манерами. Таня Ку-тю-рье...

– Здравствуйте, Павел Петрович. Вы к нам? – выкрикнула Татьяна в темноту и тут же поспешила с кухни, хлопая всеми дверьми, но вытаялась из ворот бесшумная, порывистая, как бы поднятая над землею. Искренне, с какой-то детской непринужденностью привстала на цыпочки, поцеловала в щеку и потерлась о бороду.

– Она у вас совсем не колючая, – сказала, пристанывая, будто недоставало воздуха, цепкой влажной ладошкой ухватила за запястье и повлекла в дом. Татьяна не спрашивала о моих желаниях, а я ей повиновался.

– Шел мимо, думаю, дай загляну. У вас весело, карнавал. Гости что ли? – бормотал я, скрывая стеснение. Щеки горели, как нажаренные морозом.

Зулус сидел сбоку стола, вернее, восседал, гордовато откинув голову и широко разоставя ноги, похожие на тумбы. Из горенки вышел муж, встал на пороге, упираясь теменем в верхнюю колоду ободверины, иронически скривив губы. Зять был удивительно похож на тестя не только

статью, не только угловатостью фигуры, но и цепким помогающим взглядом, будто призывающим к ответу. С улицы в доме было непривычно светло, даже резало глаза. Зулус неприветливо молчал, прощупывал меня глазами, Татьяна суежилась возле, говорила торопливо, с протягом, как причитывала.

– Павел Петрович, вам никто не говорил, что вы похожи на Деда Мороза? Вы такой пушистый, вас хочется постоянно гладить и трепать. По волосам вам будет за сто, а по лицу, если присмотреться, то не больше тридцати. Удивительно здоровая, живая кожа. Вы, наверное, не курите и не пьете? Я угадала?.. У бати моего кожа мертвая, как кирзовое голенище, и у мужа моего, хотя он вас раза в два моложе, как у черепахи, как терка, можно редьку тереть... Вас, Павел Петрович, должны любить жгучие брюнетки рубенсовского типа: все в перевязочках, складочках, груди, как подушки, ляжки в гофру от желтого плотного жира. Вы для них, будто Дух Святой, и они ночью стали бы вас перекалывать с титьки на титьку и нянчить...

Татьяна явно дурила или выставлялась перед мужем, хотела его допечь за недавнюю ссору или вызывала ревность, чтобы, распая к ночи, испепелить в любви. Но муж молчал и только иронически улыбался, катая во рту жвачку.

– Танька, отвяжись от гостя. Ты как танк. Отвяжись! – приказал отец.

– Батя, а гость-то не простой. Он – профессор из Москвы, его вся столица знает и ходит на поклон. За один погляд ему деньги платят. Правда, профессор?

– Ага, профессор кислых шей... Нынче за грош-то удавятся. Им что профессор, что поломойка. Последняя даже важнее и нужнее. Им лишние извилины мешают...

Перед Зулусом стояла початая бутылка. Он размашисто, проливая на клеенку, наполнил чужую рюмку, резко придвинул к краю стола, как подачку.

– Садись, Паша, в ногах правды нет...

Я не чинился. Уходить было поздно, передо мною сидел любопытный «фрукт» – тот тип человеческий, который был мне необычайно интересен. Зулус оказался в центре логической системы сбоев, которые не так часто открываются постороннему, даже чутыистому человеку с повадками гончей. Я, прихрамывая, прошел к столу, поставил свою бутылку и, стараясь быть простецким, сел. Татьяна Кутюрье нагородила сто верст до небес, но в этой красивой завиральне действительно таилась своя правда; я отчего-то нравился крупным, уже отрожавшим женщинам, обросшим мясами; они-то помогали мне, как могли, но я бежал, видя в них лишь погибель свою. В этом чревоугодии, в этой страстности, с какой поглощались монбланы еды, я видел западню себе: казалось, столь же незаметно, аппетитно они схрумкают и меня, не выплюнув в тарелку даже крохотного мосолика...

А мне нравились тоненькие, гибкие девушки с приметными обводами по корме и с той червивинкой внутри, незаметной поначалу, которая после вылезает наружу и делает из неземного таинственного существа сущую мегеру. Конечно, я полагал, что этой минуты в совместном житье лучше не дожидаться, а сплывать по течению к новой пристани, где на берегу, чуть поодаль, стоит тоскующая одинокая прелестница, встречающая свою мечту.

Ну, человек предполагает, а Бог располагает и не шибко-то дает разгуляться на вольных выпасах, исподволь тачая узду со стальным мундштуком, истирающим зубы. Мне надо было как-то ответить Татьяне, ибо, усевшись напротив, она пристально, изучающе уставилась на меня и явно домогалась ответа.

– Танечка, рубенсовские женщины хороши, спору нет... Это плоть напоенная и успокоенная, с пороками, вылезающими наружу, которые уже не надо скрывать, ибо всего откушано и испробовано вдоволь и нечего уже хотеть. А мне больше по нраву тот тип женщин, что недвольны судьбою, их можно осчастливить, они многого хотят, и если не загрызают сразу, то, притираясь, не перебрасывают с титьки на титьку, как ты выразилась, но становятся преданнейшими друзьями.

– И чего же вы, как костылик? – засмеялась Татьяна. – Все один да один.

– А еще не нашел такую, – признался я и с грустью посмотрел на милую женщину.

Была она в зеленом шерстяном сарафане и атласной белоснежной блузке с отложным воротником, откуда прорастала длинная хрупкая шейка, какая-то предательски беспомощная и слабая. Татьяна от моей приценки смутилась и отвела взгляд.

Муж привалился подле. Был он угловат, с худой кадыкастой шеей, адамово яблоко круто выпирало из кожи, будто там застрял рог молодого козленка. Темные волосы с ранней проседью на висках стояли на голове папахой, а в сталистых широких глазах жил холод рано остывающего человека. Я уставился на Илью с ревностью одинокого, обиженного судьбою соперника. Конечно, гнусно завидовать счастьем другого, ибо этот порок скоро изъедает изнутри, как ржавчина металл. Но такова, наверное, сущность всякого мужика, ибо все женщины, принадлежащие другим, кажутся особенно редкими и милыми, силой иль наглостью отнятыми у тебя, незаслуженно присвоенными, украденными бесстыднейшим образом. Волокиты, они умудряются охмурить, обвести вокруг пальца, оставить с носом самое невинное и благородное существо, обещав золотые горы, насулить тысячи грядущих блаженств и райскую жизнь, а выпив несчастную, скоренько выбрасывают вон, как половую тряпку иль ненужный хлам.

А я ведь не такой. О-о! Я, конечно, иной – тонкий и нежный, особенно ценящий редкую красоту; я бы носил тебя, милая, на руках, как драгоценный ларчик. И что ты нашла в этом тощем, небритом субъекте с пористой серой кожей, похожей на шкуру старой черепахи, в этих тонких язвительных губах, словно бы вырезанных перочинным ножом...

Я лгал себе, я принижал Илью, тайно сознавая, что этот парень красив, что он опятнает еще не одну девицу и многих погубит, злыдня, пока не успокоит кровь. Я крутил рюмку в руках, уже тяготясь застольем. Я не пил совсем, но зачем-то держал посудинку, будто боялся отказаться.

– Тебя в Афгане зацепило? – нарушил молчание Зулус.

– Да нет, по дурости...

– А палец где же?

– И палец – по дурости...

Получалось, что я смеюсь над Зулусом, а ведь бабка Анна предупреждала, чтобы я не задираю его.

– Почему же вас считают умным, если все у вас по дурости?..

– По дурости считают... Видите ли, Фёдор Иванович, многие маются от тоски иль скуки, жизнь им в тягость, но некому открыться, освободить душу. Видят меня, инвалида, которому ничего уже не надо, и начинают вдруг изливаться. Опустошатся, и им легче жить. А мне каждая судьба – в строку...

– Значит, ты пустой человек, – сделал неожиданный вывод Зулус, и седая щетка усов вздернулась.

– Ну, папа, что ты такое говоришь. Это же профессор Павел Петрович Хромушин, – взмолилась дочь.

– А я, значит, сарделька, да? Ты мне рот не затыкай... Еще рано отца учить.

– Да никто тебе рта не затыкает, Господи.

– Вот и не затыкай. А ты, Илья, жену не поваживай. Ты ее по шерсти не гладь, на шею сядет. И молчи, молчи, Танька, когда отец говорит... Пока ты мой кусок жрешь, а не я твой. Вот сяду в угол, тогда и укоряй.

Татьяна сникла, потухла, съежилась вся, как речная желтая бобошка на закате, закрыла лицо ладонями. Зулус долго не снимал с дочери изучающего взгляда, словно не узнавал ее, и щетиноватые брови угрожающе шевелились в лад внутренним страстям. Лицо у Зулуса было вырезано из смуглого камня, обочья густо затушеваны, словно бы в коже остались порошины от близкого взрыва, так впечаталась угольная пыль; взгляд вишневых глаз насупленный, несмиряемый. Можно было подумать, что Зулус уже решительно заложил за воротник и сейчас боролся

меж темной бездной и явью, колеблясь на самой грани. Надо было заступиться за Татьяну, но слов верных не находилось. Чужая семья – потемки, и в какую сторону не налаживай оглобли – везде болотина, трясина и тухлая прорва.

Зулус меня опередил, с тем же непримиримым взглядом сказал:

– Не знаю, чем вас и угощать. Всего вы не хотите. Штучка столичная, вам колбаски хорошей подавай, коньячок, осетринку. А мы, деревенские, по-простому: рукавом занюхал, лапу пососал – и сыт.

– Спасибо, ничего мне не надо. Пить я отродясь не пью, а кто не пьет, тот не закусывает, – пробовал я отшутиться. Я оказался под грозой, и надо было где-то затаиться, чтобы не сразило молоньей. И на равнине луговой жутковато, и под одинокую березу не спрячешь голову – спалит.

– Много вам надо, образованным. Вам все подавай, и чтобы сразу, – хрипло сказал Зулус и запил свое странное умозаклучение глотком самопальной водки.

Я недоуменно взглянул на хозяина, но странным образом уже понял и согласился со всем, что будет сказано потом. Мы были деревенского кореня. Все вековое, пусть и припорошенное, пусть и трижды неправильное, замутненное и исковерканное, глубоко сидело в нас и заставляло с горестным недоумением отталкивать от себя тех людей, что позабыли родовое, отеческое. У них, наверное, была своя правда, но она была непонятна и чужда нам. Зулус говорил, словно забивал гвозди по самую шляпку плотницким топориком. Бил он ладно, с размаху, словно мастерил мне ящик.

– Вы – парши, перхоть, вы наводите сраму на всякое доброе дело и превращаете в отходы, хоть бы – в навоз... А вы – в отходы. Вам бы сидеть на параше на зоне, чтобы больше не замышлять еб... революций. Ну и что получили? А что заслужили – то и получили. Шуруп в одно место, не при дочке будь сказано. Огоряй Ельцин, этот серый человечек, заимел шунты, несколько дворцов, сто мешков зеленых в швейцарском банке и ёрш в задницу. Алкаш несчастный... А вы оказались гнидами под еврейским ногтем. Думаете, отсидитесь? Они знают, что всякая гнида вошью станет и авось пригодится им. И не дают, и жить не дают...

– Согласитесь, ведь не все плохие, – пробовал я защититься безо всякой на то охоты. – Вот и дочь ваша...

Но Зулус не дал договорить:

– Дура она, дура... Мать шила и никаких институтов не кончала. Я был человеком даже под землей, с Доски почета не слезал. Я двадцать лет горбатился, добывал уголек стране. И меня ценили, давали жить. Я двадцать лет солнца не видел, но и ада не знал. Два километра над головою. Ты бывал в шахте, интеллигент?..

– Ну...

– Гну... Да твои руки тяже одного места и не держали. Нету ада, нигде нету. Мы сами себе, трусы поганые, устроили ад тут – на земле. Захотели живым меня закопать? А я не дам, меня не так просто взять. Мне чужого не надо, но и своего не отдам. Кто мою косточку с тарелки схватит, я его – ам! – Зулус страшно щелкнул желтыми зубами, как московская сторожевая. – Я тому горло перегрызу. – Мужик раскалился, побагровел, дробины зрачков стали как ружейные дульца, из которых сейчас вылетят крохотные пульки...

«Но в меня-то за что стрелять, за что?» – мысленно воззвал я, но не был услышан мужиком.

– Раньше не было свободы: то нельзя, это нельзя. И правильно! Но была воля – а! Или я не прав? Вся страна подо мною, раскатись моя телега, все четыре колеса. И потому мы пели песни и смеялись. Была воля, да, была, только мы не знали того. Или не так?

– Все так, – подтвердил я, не кривя сердцем. Зулус удивительно точно, пусть и грубо, но считывал мои мысли, будто украдкой листал потайные записи.

– То-то, – самодовольно протянул Зулус, бледнея. – Воля для души, а свобода для брюха. А брюхо надо держать в узде. Или не так? А сейчас много свободы. Делай, что хошь, что противно Богу, а в душе-то – неволя, ей некуда от брюха скрыться. Кругом одно ненасытное брюхо и внутри его маленький человечек, козявка, меньше даже и хуже. Та хоть не гадит. Правда, доча?

Татьяна разъяла ладони, посмотрела на отца сквозь шелку, прощающе улыбнулась.

– О Боге говорят, церковью пооткрывали, ой-ой! А мы скотинимся. Потому что для тоски церкви те, а не для веселия души. Вера-то она веселая, это – праздник. Или не так, Павел Петрович? Вот и ходи молился, чтобы радостно жить... А чего молиться, когда воли нет, и чему молиться, когда Бог ваш в брюхе упакован и окольцован, как бык за ноздрю... А черти к нему – на загривок.

Татьяна укоризненно покачала головою, и отец снизил тон:

– И чего на Бога пенять, коли сам виноват... Захоронили бы тогда Ельцина вместе с царскими останками, все меньше расходов. Значит, никто не хочет умирать, а все намерились жить, как в раю.

– Вы же его нам вытащили, – укорил я.

– Значит, никто не хотел умирать. Все захотели жить еще лучше. Без солнца разве правду увидишь?..

Зулус скидывался в мыслях неожиданно, и я едва поспевал за ходом его рассуждений. И все время он чего-то недоговаривал или делал скидку в сторону, чтобы не поймали за хвост, не заставили говорить правду. А кто ее знает – эту правду, ведь она, как оборотень, имеет столько обличей, сколько людей на свете, и всякий тяжущийся за истину имеет в виду и стоит на суде до последнего именно за свою, и только за свою, коя приятственна его сердцу и безубыточна для семьи. Разговор незаметно растревожил меня, и я невольно распустил язык, будто нашел в доме Горбачевых истинных союзников.

– Фёдор Иванович, я полностью ваш. Только чуть-чуть если... Бога-то нельзя за ноздрю. Если он укрепился в вас, то он и неистребим, как бы вы ни шатались по ветру. И даже если вас и штормит, тут права Татьяна, Бог при вас, он неотлучен, он не даст скатиться в океан пошлости, удержит на берегу. И если нынешняя свобода – это грязь и пошлость, подлость и разврат, то это не оттого, что Бог беспомощен и прикован за ноздрю и на него можно наскакивать всяким бесам, но оттого, что Бог в вашей душе и не ночевал. Вот и расплачивайтесь сами за себя, а на Бога не сгуйте. Я думаю, что Бог изначально дал человечеству волю, чтобы испытать Адама, глубину его страстей, но слепил по своему подобию, чтобы подсказать, что есть куда вернуться, есть за что зацепиться. И вот государство потихоньку, исподлясь, заменило волю свободой. Я вас так понял, Фёдор Иванович?

Зулус настороженно кивнул головою, в вишенных глазах слегка поотмякло, в них пробудился интерес ко мне. Вот, вроде бы только что хотели убивать, уже поставили к стенке и зачитали приговор, но с последними словами что-то вдруг стронулось в сердце, будто кто-то воззвал с небес и послал с милостью гонца, и приговорщик вдруг усомнился в своей правде.

– Посмотри, убивают кругом, – задумчиво произнес Зулус. – Кровь рекою, люди, как вши, хуже вшей, и убежать некуда. Вроде все можно: кради, обманывай, убивай. Такое мнение складывается, что все можно, если денег наворовал. И в то же время шагу не ступи, все занято, уже дышать трудно: ни на реку – за рыбой, ни в лес – за зверем, ни скотину водить, ни землю пахать. Но все можно тому, кто приезжает на «мерсах» из столицы с охраной: тузам и воротилам. Они все поделили меж собою на зоны, скоро нас, мужиков, за колючую проволоку – и подыхай там...

Зулус говорил, как плакал, лицо его пошло пятнами, и даже жесткая щетка усов словно бы сникла, облепила губы; мужик на время потерял твердость духа, но этой минутой слабости

в нем еще крепче укреплялась решимость жить по своему уму, по своей воле, ни в чем не уступая воровскому государству, но всячески обхитряя его.

– Эти власти обанкротили народ, пустили по миру с кошелкой... Наставили кругом Гаврошей, чтобы следили за нами, как псы цепные.

– И потому вы ненавидите Гавроша? – вкрадчивым голосом спросил я. – Вы ненавидите не самого Гавроша, а власть, что давит через него и не дает дышать.

– Ссучился он, твой Гаврош... Да ср... я хотел на него. Ты понял?! – снова вспыхнул Зулус. – Сам с телушку, а хер с полушку. Рылом не вышел пацан, чтобы под себя равнять. Под пулями не бегивал, в окопах не леживал... Он у афганца ружье отнял, собака. Да у меня этих ружей!.. – Зулус запнулся, воровато поогляделся, нет ли возле чужих, задержал взгляд на мне, глаза стали снова, как два ружейных дульца. – При Сталине в каждом доме было два-три ружья. Висели на стенах, да. Ими стены украшали. Оружием гордились. Мне двенадцать лет было, когда отец одностволку шестнадцатого калибра подарил. Вывел за порог, показал на лес и говорит: «Ступай и без добычи не приходи. Я – косорукий, охотиться не могу, вас у меня много, и теперь ты за добычика...» И никаких тебе документов, никаких сейфов, чтобы хранить ружья, никаких справок и бумажек из больниц, что ты не глухой и не слепой, не наркоман и не сифилитик, что у тебя стучит сердце и екает селезенка. Ни фиги не надо было... Вот тебе и Сталин. «Тиран» кричат, «тиран», свободы не было. Для раздолбаев он был, наверное, тиран. А сейчас свободы вашей долбаной – выше крыши, нажрались, но нет никаких прав и нет воли. И потому стреляют из-за каждого угла, затаились за железными дверьми, завели свирепых собак. Ну?.. И все прахом. Стреляют. А в телевизоре окопалась одна шпана, которой место на нарах или в Чечне. Всякие Сванидзе, Стервидзе, Киселидзе, Онанидзе. Их бы на недельку в окопы, в грязь, под бомбежку. Я бы посмотрел на этих телевизионных красоток...

– Папа, выбирай слова, – строго перебила Татьяна. Она была для отца за цензора. И отец, на удивление, оборвал речь, потому что его решительно потянуло на матерки, а в этих выражениях русский мужик чрезвычайно оборотист и занозист.

– Значит, при Сталине в людях было больше Бога, чем сейчас, – вдруг нашелся я, удивившись точности неожиданной мысли. – Церквей было много меньше, а Бога – куда больше. Сейчас храмов кругом понаставили, но туда поспешил ростовщик, убийца и плут, кто успел ободрать народ, как липку, а нынче встали к аналою со свечками, поближе к батюшке. Бог не запрещает убивать. Он попускает человека и на этот страшный грех. Убивай, если так хочется, если невтерпех. Но смотри... Вы правы, Фёдор Иванович. В каждой русской семье, наверное, при Сталине хранились ружья, и никто их не ревизовал и не отбирал, и за редкостью великой было, чтобы кого-то убивали на селе. Вся округа знала про это несчастье и долго помнила. Да я и сам из деревни родом. Я первое ружье купил в тринадцать лет в конторе «Заготживсырье», и никто не спрашивал у меня документов. Значит, трупами нынче устилают Россию не потому, что на руках много оружия, а значит, его надо обязательно засунуть в сейф, узаконить, уконтролить, обеспечить медицинской справкой, но оттого, что человек побежал от Бога, удивительно быстро побежал. Осеняя себя крестом, поклоняясь Христу, он побежал к пагубам, оставляя жалость по ближнему тут же, в храме, даже не донеся ее до паперти. Особенно поспешил молодяжка, у которого длинные ноги, сильные руки и жестокое сердце, свободное от Бога. Молодаяжка-горбачевец и молодаяжка-ельциновец. Разве не так?.. А вы что думаете об этом? – спросил я у Татьянина мужа, чтобы понять ход его мыслей и как бы выставить оценку за способности. И в этом вопросе тайлся свой корыстный умысел.

– Никак не думаю, – коротко отозвался Илья.

– А кем вы работаете?

– Я геолог... По углям специалист. По особым углям, – ухмыльнулся Илья, будто сказал что-то двусмысленное, касающееся женщин.

– Он всю страну исколесил вдоль и поперек, – вдруг заступилась за мужа Татьяна, словно бы Илью незаслуженно обидели, уронили в чужих глазах, и надо было его, безязыкого, срочно возвысить.

И я снова заметил невольно, что у Татьяны странный, срывающийся голос девочки, и в этом милом изъяне скрывается некая душевная червиевка, старинная хворь, от которой уже не освободиться никогда. Была какая-то невызрелость, глубоко скрываемая обидчивость и ранимость детской души, которая вдруг угодила прежде времени в грубый плотский мир, такой далекий от романтических представлений.

Илья снисходительно засмеялся, по-барски положил руку на ее тонкое плечо, словно бы вздел ярмо на голубицу, насильно отданную отцом-матерью за неласкового человека.

– Чего ты смеешься? Ведь правду я говорю. Я его дома совсем не вижу... То он на Алтае, то на Сахалине, то на Памире. – Татьяна слегка отстранилась от мужа, и круто загнутые острые ресницы сполошливо замерцали, будто в круглые глаза угодила соринка.

– Правда, правда, – примирительно согласился Илья и снова засмеялся сыто, напористо, хотя ничего смешного в словах жены не было. Этим смехом Илья привязывал жену к себе, как невольницу, ставил на подобающее место, не роняя, но особо и не выпячивая. Жена, правда что, была очень миленькая, и муж, наверное, хотел похвалиться ее красотой, чтобы все сидящие удивились, какую драгоценную вещь он заимел. Хотел похвалиться и не мог – гордыня мешала.

Но мне-то зачем эти тонкости? Я-то зачем подглядываю в щелку, чтобы в закрытом чужом сердечном мире отыскать заусенец, разбередить его в незарастающую язву.

«Пачкун ты и завистник жалкий, – укорил я себя. – Бога на тебя нет». И невольно заметил, что Татьяна как бы чурается мужа, слегка сторонится его, ставит меж ним и собою препону, засеку, будто недавно состоялась размолвка, и та невольная чужость, что вспыхнула во время ссоры, еще не сгладилась от любовных игр.

– Да, где я только не побывал, – глухим мечтательным голосом протянул Илья и потянулся лениво, привлекая к себе жену и тем перелаывая ее строптивость.

– Это сейчас всех повязали, в кандалы обули, – сказал Зулус. – Раньше я мог с сотней в кармане до Камчатки укатить. И на каждой станции тебе – пиво, четвертинка. Где глазам глянулось, вышел из поезда – и живи себе. Только не хулигань и не воруй. Сколько народу ехало во все концы. На каждом вокзале – табор. И у всех деньги: ни нищих шибко, чтобы уж совсем, как нынче, ни голодных, чтобы в помойках рылись... Каждый мог заработать – только захоти. И кость чужую из миски не воровали...

Глаза у Зулуса впервые оттаяли и увлажнились. Он сейчас походил на удивленную диковинную птицу, вставшую на крыло над родимым болотом и впервые увидевшую скрытную кулижку чистой воды, куртинку отцветшего тростника, осотные папахи на потускневших к осени кочках, повитых бордовыми ожерельями клюквы, крыши изб, похожих на серые валуны, выросшие из приречных хвощей, тоже своих, родных, как и родными были и те человечки, мерно кланяющиеся на огородах своей земле.

Зулус, может быть, впервые подумал, как спокойно ему жилось прежде, как ровно дышалось, и весь грядущий путь был спланирован, разоставлен указующими вешками от рождения до погоста. И вот подул внезапный снеговой, все метки захоронил в сугробы, и сейчас, когда годы так стремительно покатались с горки, надо думать, как выжить на потощавшую в четыре раза пенсию, да еще и помогать дочери. А бесы все пляшут без утомона по стране, выют хоро- воды на чужих костях, и нет им острастки.

– Бывало, каждый год – в Крым. Получку – в карман, семью – под локоть, и в – Крым. В Воркуте метель по улице, а в Крыму шелковое море, генацвали усатые, шашлыки, вина – залейся, не хочу. Девочки... Бывало, и причастишься...

– Хорошо, мама не слышит, – засмеялась дочь. – Кот усатый. Вот вы все какие, мужики...

– Павел Петрович, какую жизнь мы профукали! – Зулус словно только что осмыслил случившееся, трясущейся рукою наполнил рюмки. – Выпьем за упокой, не чокаясь. Ведь мы сами себя похоронили и закопали своими руками. Мы сейчас сквозь щелку гроба смотрим и видим лишь волосатый кукиш русского жида. Надо было всех вместе с царскими останками – в одну яму. Дураки мы, дураки, какого кнуря себе на шею завалили...

Я хотел было упрекнуть мужика, де, вы сами шахтеры подкузьмили нам, такого злобного быка выпустили без вязки из хлева. Дивились да радовались, ослепши под землею: экая, мол, русская сила, не чета станет бесенку Горбачеву. Ну прямо богатырь в дозоре на границе, а рядом с ним – Чёрная Морда – гармонист, гулевая душа, а третьим – вровень им – внук писателя и сын адмирала. Ну рылом не вышел, правда, свинья свиньей, только не хрюкает, да не с лица же воду пить, но зато ума палата, на всех достанет. Но вовремя я прикусил язычок, спохватился, вспомнив мудрый наказ бабки Анны: «Смотри, не задирай мужика, за ним горя ходят».

– И плохо, что каждый год – в Крым. Коммунальная квартира... Грязь, свалка. Все на шарманка, нищета, поделенная на всех. Было бы что вспоминать, – язвительно возразил Илья глухим надтреснутым голосом. – А я молодую жену на Канары повезу, потом – на Багамы. Верно, Тань?.. В Египет – пирамиды смотреть, в Китай – суп хлебать из змеиных сердец и ласточкиных гнезд... Вам, старикам, обидно, мы вас понимаем.

– Какой я старик. Мне едва за сорок. Я тебя в калачик одной рукою заверну...

– Ну, не старик, – поправился Илья перед тестем. – Это я так, к слову.

– Вот и выбирай слова. У меня рука тяжелая, – гнул свое Зулус.

– Обожди, дай сказать, отец... Нельзя же плодить нищету.

– Так это же вы наплодили нищету, долбанные демократы... В самом соку мужика на пенсию выкинули. Я бы сколько еще мог ишачить. Шахты позакрывали, людей пинком под зад. Сволочи – одно слово для вас.

Но Илью, оказывается, было трудно сбить с мысли:

– Сколько можно один рубль делить на всех... Поехали по стране, все побросали, как блуждающие триффиды. На вокзалах – ни пожрать, ни поспать. Я-то, Павел Петрович, все на себе испытал: вонь эту, грязь. Какая копейка и заведется в кармане, так некуда потратить. – Илья почему-то обращался ко мне, видимо, тоже побаивался дразнить тестя. Обидится, полезет с кулаками, а тогда и не оборониться.

– Но ведь весь народ поделили на улусы, нищетою загнали в резервации. Мать к сыну не может поехать, дочь к отцу. Это же садизм, утонченный садизм деспотической безнравственной власти, де, я вас не трогаю, как прежде, не посылаю в тюрьмы и на казнь, но вы умрете в неизвестности на помойке, а ваши дети станут бродяжничать и где-то подохнут в столице, как тараканы. И так умирают миллион за миллионом. Ведь великая страна кончается...

– Если бы она была великою, то не подпала бы под власть кучки жидамасонов, – язвительно, со скрытым умыслом поддел Илья: де, я-то знаю, кто действительно во всем виноват. – Дорогой профессор! Ваша Россия давно треснула, как плохой глиняный кувшин, все стало вытекать из посуды и иссыхать. Вы живете воспоминаниями, тем, чего уже давно нет, пропало. Да и было ли оно? Это «большой» вопрос. Именно вы и живете брюхом, а не мы, молодые. И прежде жили с мечтою о брюхе, чтоб всем сыто. И все. А всех тремя хлебами не накормить.

– Вот у тебя, зятек, наверное, пойдут дети, – вмешался Зулус, не утерпел. – И когда дочь твоя пойдет на панель, а сын в тюрьму, тогда вспомнишь меня. Может, тремя хлебами и трудно накормить такую прорву дармоедов, что сидят на нашей шее, но все-таки были на столе эти три хлеба. А сейчас и одного нет. Лишь сухие заплесневелые корки вы кинули нам, беззубым... А мы-то вас кормили мякишем, сдобным и сладким. Мы вас из последнего вытягивали за уши, ничего не жалели. Все вам, все вам. Жрите, галчата, учитесь... А вы так ничему и не научились. Только и научились чужую кость из миски воровать. Горл охваты...

Татьяна тоже порывалась встрять в перепалку, глаза ее загорелись. Она переводила взгляд с лица на лицо, то хмурилась, то сердечно улыбалась, и тогда на круглых твердых щеках проступали ямочки, а углы пухлых губ, как-то странно задираясь вверх, будто завязывались в узелки. А мне подумалось вдруг: велика, пространна Россия, даже властным взглядом орла не охватить и крохотной толики ее, и вот по всей земле, опятнанной чересполосицей, идут вот такие же словесные схватки; мучается народ, перемалывает внезапную встряску, примеряет новины к себе, ищет путей, чтобы не загрязннуть в тоске, не утонуть в печали. И то, что русак, вроде бы окончательно загнанный в ограды неудобей, по колена утонувший в пошлости и безделице новой жизни, не отвык думать, а пестует душу, – вот в этом и виден здоровый спасительный знак для будущей России. Она сбрасывает с плеч опостылевшие, в чем-то уже короткие обветшавшие одежды и, не имея пока портищ нового сукна и полотен, не только выгадывает и кроит из старья новое платье, но и замышляет новые, приличные для своего великаньего роста наряды. В который уже раз огромная Россия становится портняжкой, кутюрье, зашивает и ладит, отглаживает то, что успели напортачить скорые на руку неумехи и злыдни, надсмотрщики и поденщики. Бог ты мой, и какой тяжкий труд снова предстоит нашему народу, чтобы хоть бы дыры залатать в этом протертом рядне, чтобы не выглядеть уж слишком бедным и несчастным. Одни с тоскою глядят назад через века в златоблещающий царский мир, безусловно, видя себя только дворянами, но никак не дворнею; другие уставились на Запад, представляя себя богатыми и сытыми, но не бомжами на свалке или неграми на вокзале, третьи же с угрюмой печалью вспоминают недавнее прошлое, когда за четвертак можно было смотаться в санаторий на юга. Нет, не три богатыря нынче стоят в русском дозоре перед новыми безжалостными гуннами, а сам русак снова задумался на вечном распутье перед вешим камнем, угадывая себе верную дорогу, чтобы вовсе не пропасть.

– Отец, сплюнь трижды, хоть и не веришь ни в Бога, ни в черта. У нас будет сын, и он поедет учиться в Кембридж. И ты будешь любить моего парня больше, чем свою дочь.

– Деды живут внуками, а внуки мстят за дедов, – раскатисто засмеялся Илья, и высокий лоб внезапно покрылся частыми морщинами, собрался в гармошку. – Если бы переворот задержался, допустим, еще лет на десять-пятнадцать, то страна жила бы в бардаке еще лет сто. Внуки отомстили за дедов, таков закон всех переворотов. Много оказалось злопамятных внуков, и мало осталось упертых за идею дедов, кто бы мог взяться за автомат. Вот ты, отец, правильно подметил: никто не захотел умирать... Никто. И теперь не стоните, коли не захотели умирать. А мы за дедов тридцать седьмого отомстили. Такова селяви... Ведь твоего деда тоже кулачили?

– Ну, кулачили, – с досадой и некоторой оторопью согласился Зулус.

Разговор сместился в туманное и непонятное прошлое, о коем почти не вспоминали в семье. Да и что о нем рядить, если Грунюшка говорила о том времени беззлобно, с каким-то беспечальным удивлением: де, надо же, такого горя хватило, перетерли его и не озлобились, и семью не растрясли...

Вот этого чувства смирения и не хватало в нынешнем подростке. Я с придиркою вгляделся в Илью: вроде бы русский, а точит ножик, словно чеченец или афганец... Ну, бились, будто камень о камень, высекая искры, ну, голодовали, нищевобродили, но ведь пели и смеялись, как говорит Зулус, кажинный день. И это чувство веселья пересиливало все пережитые тяготы... А тут сытый, удачливый мужик сидел напротив и хохотал, как неживая целлулоидная кукла, которой малыш надавливает на электрический органчик в животе.

– Значит, и ты мстил за деда...

– И ничего я не мстил, – противился Зулус. – У него была своя жизнь, а у меня – своя.

– А я говорю – мстил, – решительно настаивал Илья и обводил застолье победным взглядом. – Если бы не мстил, не было бы революции. Ты же Ельцина вытаскивал из реанимации, а сейчас клянeshь. Ельцин – твоя месть за деда... И, вообще, хорошо, что народ заперли, не

дают гужеваться, шляться по стране. Пусть сидят по своим избам, накапливают чувство мести, а не растрясают его по вокзалам. Это как железные опилки притягиваются на магните ворохом друг к дружке. И в старые времена разве крестьяне болтались зря по городам? А бабы... И жили ведь, растили детей. Весь свет – в окне. Только купцы, разбойники да монахи бродили. Да мужики с обозами... Дорогой профессор, разве я не прав?

Странно, но в словах Ильи я увидел искус, похожий на правду; вот так и изворотлива частная земная истина, если она излетает из уст блудодея. Нищета, оказывается, благо, утрата родства – благо, казарма – благо, смертоубийство и пошлость – тоже благо. Обездоленный народ сидит в своем кугу, жалкий и бессловесный, обрастает, видите ли, национальными чувствами, прижимается друг другу, как железные опилки к магниту, и тем самым не только сохраняется, но и копит месть для грядущей революции.

Но все перевороты сочинялись сытым человеком, а голодный сытому – не товарищ и будет спихнут с воза при случае где-нибудь в заснеженной степи.

– Мы же не блохи. Попил кровцы, нажрался мясца и в другой воротник прыг-скачок, – вяло ответил я. – Национальное чувство хранится в ладной семье, где мир и покой. А в нищей семье копится зависть. Мечь и зависть – отвратительные для русского человека повадки, совсем для нас чужие.

– Ваш навоз и пахнет слаже, а? Это, Павел Петрович, мазохизм, – засмеялся Илья. – Это ублюдочный мазохизм вымирающей расы...

– Не надоело трепаться? – отмахнулся от зятя Зулус. – Я тебе скажу: на всякого мудреца найдется ерш с протиркою, а что-то с горбинкою.

Лицо у Татьяны страдальчески сморщилось, она виновато посмотрела на меня и покачала укоризненно головой: де, простите, пожалуйста, в деревне все по-простому, без изысков. Я развел руками: мол, понятное дело, не мучайся, девонька, а сам меж тем старался запомнить присловье Зулуса в новом для себя варианте.

Хозяин выбил из пачки сигарету, пошел на улицу прохладиться. Выйдя следом, глядя снизу вверх на Зулуса, еще разгоряченный от словесной трепотни, я вдруг сказал в курчавящийся тугой затылок, будто выстрелил:

– Фёдор Иванович, а я недавно во сне тебя убил...

Кто дернул меня за язык? – не знаю. Видно, внезапный переход из света во тьму, из душевной говорильни во вселенский покой, объявший деревню, повернул мою душу на это странное признание, коему не было верного толкования. Я ведь и шел-то к Зулусу вовсе по другому поводу, но, зряшно исполнив дипломатию, поставил себя в дурацкое положение. Но слово выпорхнуло и поймать его невозможно. Оно превратилось в энергетическое светящееся облачко и зависло на время где-то под фонарным столбом, слившись с голубоватым озерцом электрического света. Комары толклись там, мохнатые жирные бабочки, с гудением пролетали кургузые рогатые жуки, проносились, обдувая ветром лицо, летучие мыши, похожие на нетопырей. И в этом семействе живых существ, источающих тепло, поселилось в невидимом коконе мое жуткое сновидение.

Зулус пыхнул дымом, взглядом проводил белесый пахучий завиток и спросил, не оборачиваясь:

– А за што?

– Сам не знаю, – солгал я.

– Ладно, хоть во сне. А взаболь убивал когда-нибудь? – спросил Зулус, и голос его дрогнул.

– Никогда...

– А я убивал. В Афгане... И два ордена имею, – Зулус говорил хрипло, пережевывая слова вместе с махорным чадом. – Я был командиром взвода разведки.

– И не жалко было?..

– Жалко, не жалко... Война ведь. Иль ты его, иль он тебя. Пока дрыгается – жалко. А как затвердеет – бревно... А бревно чего жалеть... Ну пока, убивец. Пойду отдыхать.

Так и не взглянув на меня, Зулус вошел во двор, плотно запер ворота.

9

Дни убегали от меня, и я не мог поймать их за хвост и удержать. Мне неприятно было ложиться в постель, бессмысленно закапывать часы, живую жизнь превращая в мертвую; но как бы ни насиловал себя, как бы ни усложнял быванье, но время просачивалось сквозь пальцы, будто из дырявого жбана, сливалось куда-то в невидимое бездонное провалище. Время не пролетало мимо, словно летучая мышь, обвевая меня крылами, оно не теснило своими утратами, не казнило меня и не миловало, оно лишь мерно капало, будто из прохудившегося ручейника, своим мерным звуком выбивая в моем сознании вроде бы беспочвенную тоску, кою можно было обозначить всего лишь одной фразой: «Жизнь уходит...» Моя, когда-то полная, неистраченная жизнь превращалась, несмотря на все усилия, в «ничто», а что дальше поджидало меня за этим «ничто», сознание не хотело объяснить, а угрюмо, упрямо бастовало...

И что же я высидел за целый вечер? Хотя бы напился. И вот несу в себе бремя усталости, как недоношенное дитя, и так лихо, истомно всему телу, словно весь божий день горбатился на лесосеке с топором. Сейчас мне так понятны капризные, печальные создания с косо опущенными горестными губами, скучающим взором, что целый день тянут волынку, а к вечеру, когда солнце на закат, вдруг скрипуче говорят ближнему: «Боже мой, как я устала...» Прежде смеялся, слыша подобное, недоумевал: ну разве можно устать от волынки и безделицы, кода в жилах ярится молодая кровь и пар, как в машинном котле, требует спускного клапана? И куда же тогда растрчивает женщина свое кипучее, телесное, что обычно выпивается любой, до изнеможения, работой или любовью. Значит, изливается она в бестолочи словоговорений, в тоске взгляда, в бездумном шатании в стенах дома, в напрасных мечтаниях и вздыханиях. Бессмысленность положения, душевная незанятость изматывают, расходуют человека хуже подъяремного труда и лишают его всяких земных радостей. Вот почему от внезапного, зачастую необъяснимого порыва вдруг так желанны петля на шее, взрезанные вены, полет с девятого этажа, пуля, горсть клофелина, газ и т. д. и т. п.

Мое спасение – в моем мозгу, он шевелится под волосами, и слышно даже, как звенят эти колбочки и бутылочки в голове, притираются друг к дружке иль притесняют, скрипят, разрыхляют наносной ил ленности и высеивают цветы. И утекающее в пропасть время озаряется вдруг утешительным смыслом, и мое прозябание на земле исполняется особого значения, похожего на подвиг...

Деревня меж тем безмятежно спала, и месяц-молодик, почти лежа на спине посреди синей проруби, как игрушечный кораблик, выхватывал из тьмы лишь несколько изб у пруда, ветлу, похожую на облако, развалины церкви. Легкое серебро чешуею легло на куртинку камышей и узкий, с пролысынами света, мосток, на кулижку воды, похожую на вологодскую чернь; какой-то зверь, плюхнувшись с берега, поплыл вдоль мостков, оставляя в реке вспыхивающую жемчужную дорожку. Может, выдра пустилась на охоту иль водяная крыса, иль утка с выводком, иль бесстрашная ондатра, устроившая себе безмятежное житье в корнях развесистого ивового куста. На западе, словно исполинские горы, высились недвижные темные тучи, и по ним, высвечивая ущелья и вершины, струились беззвучные молоньи. Сражение стихий шло на моих глазах, и я, ничтожный, никак не мог повлиять на его исход, но сам невольно был вовлечен в небесные страсти, и сердце мое бестолково маялось в ребрах и позывало на слезы; от грусти они копились иль от невыразимой красоты, которую я не мог запечатлеть, иль от одиночества?.. А может, от всего разом...

Скоро осень, подумал я отрешенно, скоро съезжать на зимние квартиры. Хорошо бы в моем заповедном месте кинуть сетчонку, не замахиываясь на богатый улов, можно взять на добрую уху. Линь еще не сунулся в ил, щука уже нагуливает жирок и скапливает икру, окунь скоро двинется в свои скрытни под затонувшие в быстринах деревья, да и всякая мелкая челядь,

повинуясь зову предстоящих холодов, засуетится вдруг, стронется со своих пастбищ и косяком пойдет на ямы.

А зачем мне эта рыбацкая суета, этот безусловный риск, косые взгляды однопороденцев, подсчитывающих в уме, сколько добыл профессор и за что ему такие милости от егеря, небось, подмазал москвич, позолотил ручку, и Гаврош закрывает глаза на его браконьерские ловы.

Да много ли мне и надо-то с матерью на шербу? Ну щучонку с полкилишка, пару окуней и всякой серебристой мелочи на рассыкаленку, чтобы загустить уху, создать ей особый северный смак. Любит моя Марьюша уху, ей обсосать языком перо иль окуновое жирное звено – самое счастье; и, поглядывая каждый день на речку Проню, она вспоминает, конечно, свои родимые заветные дали, где уже не побывать, как ни обещает сын, семейный неводишко, ветшающий во дворе, удачливые тони и еще того, живого, тятеньку, выливающего из кута рыбе серебро в прогонистую вертучую лодку... «А сын не в деда, – почасту укоряет Марьюшка, – нет в тебе розжига, того азарта, когда удачливый рыбак, мотаясь по реке, живет мечтой об удачливой заре и верит в старинное присловье, похожее на заповедь: пола мокра, дак и брюхо сыто...»

Эх, мамушка, да не казни ты меня, но помилуй. В другие стихии я ударился, по иным стезям побрел да и заблудился невзначай, ибо слишком много воли себе взял, и нет надо мною другого закона, кроме своей отысканной Правды.

Семья была бы, семеро по лавкам – тогда иное дело. Жена бы жучила, гоняла бы по горушкам, не давала засидеться, засалиться и замоховеть; детишки, стуча зубешками, скулили бы ежедень: папа, дай! папа, дай! Разорвись, но дай, на что взгляд наивный упадет. Но я пока, как волк – зубами щелк, и ничего мне не посылается в потраву. Так, когда травки ущипнешь да и вплюнешь. Ни Бог не посылает, ни батюшка не благословляет, ставит под пупок препоны, де, седатый старичище, не ползи под костычище, но примеряй себе гробище... А я не создан для одинокой жизни, не создан, вот те крест, и нет на свете такого измерения, в каком бы я смог существовать в одиночестве, как монах.

Вот и век кончается, а вместе с ним и я обрастаю мхом, и последние силы, которые я мог бы пустить в доброе дело, уходят в распыл. Не забавно ли? Родился век при Распутине, а протягивает ноги при Путине. Один был провидец из крестьянской гущи, может, и святой человек, головою светлой в поднебесье, недаром все враги России так ополчились батюшку убить, чтобы вместе с ним закопать великое государство и поплясать на костях Романовых. И поплясали, живодеры, лихо повыкаблучивались, напаяли наглые хари, чтобы скрыть свою бесовскую сущность. И как выродился народ с той поры, Господи! И какой мелкий пошел управитель. Нашелся пастушишко с холодными глазами кузнечика, взял бич и давай погонять стадо по российским пажитям, заталкивая в самые-то некормные места, чтобы вконец оголодало оно и при гласе сладкоголосом: «Спаси, Христе Боже...» протянуло ноги.

* * *

Мать в своем куту мирно спит, вытянувшись, как покоенка, одеяло не ворохнется. Потерялась в окурках, только головенка, замотанная в темный плат, торчит, как отцветшая цветочная бобошка, да нос вертлюгом над подушкой, щеки ввалились, присохли к деснам, и нет в лице ни мясинки. Веки прикрыты не плотно, и чудится, что Марьюшка подглядывает за мною в щелки, даже во сне дозорит, чтобы ненароком не разлучиться, не попрощавшись.

На столе дожидается меня кружка простокваши, прихлопнутая блюдцем от мух, и кусок творожника... Эх, старинушка моя, заботушка... Постель любовно разобрана, плотный белый пододеяльник отогнут, крахмальная скрипучая простыня, пышно взбитое столовье... Любушку бы сюда, в эту чистую постельку, тугую, как казачье седло, с натертой до блеска атласной кожей.

Греховодник, очнись, нельзя тебе по гостям шастать, ибо каждая баба, ненароком угодившая на жадные глаза, как сладкое наваждение, сразу сердце запахивает от тоски, что не с тобою сугревушка, а другому мужику перину взбивает... Что там скрывать, братцы мои, для постоянно влюбляющегося, вспыхивающего и безумствующего сердца нет ничейной полосы, нет белого флага. Мое, все мое, и только мое. И забыто заповедальное: «Не пожелай жены ближнего своего, ни вола его, ни раба его». Слышь, окаянный, не пожелай жены ближнего, хоть бы и на всем белом свете не сыскать краше ее. Прочитал «Отче наш» уже с закрытыми глазами, запахнувшись с головою в одеяло, погрузился в прозрачную речную заводь, где плавают русальницы с изумрудными глазами и семужьими тугими хвостами, будто серебряные бокастые язи. И меж ними, словно бы заключенное в резную раму, мерещит улыбчивое лицо Татьяны с загадочным мерцающим взглядом. Да чем же она краше тех девиц, что были у меня? Все бабы одним миром мазаны, одна другой стоит; уже с озлоблением, отпихивая привязчивый облик, стал вспоминать прежних подружек, с коими сблизжала судьба и вновь разводила, нарочно отыскивая в них дурное, чтобы, всех повязав в одну торбу, тут же сплавить в небытие.

Хорошо Марьюшка не знает о моих амурах, а то бы всю плешь проела, напоминая ежедневно, что яблоко от яблони недалеко падает. Сколько их было? – кто знает, но если перебрать жизнь, перетряхнуть усердно от пыли, то вдруг станется, что ни одного дня не было без подружки, постоянной или временницы, но все они с годами как-то перетасовались меж собою, будто карточная колода, некоторые напоминают запиской или телефонным звонком, или случайной встречей, многие же осели в прошлое, как в озерный ил, но порою, будто караси после зимней лежки, вдруг всплывают в памяти. Но ведь волокитою не был я, бабьим угодником и шалуном, все годы науку грыз, яко мыша сухарь, и до плотского ли было, кажется, мне? А вот поди ж ты... Только жен оказалось четыре, помимо той, последней, о которой постоянно горюет матушка: арфистка, актриска, курсистка и марксистка.

Арфистка была колченога и, обняв свою бандуру мягкими круглыми коленками, возведя кукольные очи, она самозабвенно щипала струны, будто раздиргивала овечье руно. У нее, как помнится, были пепельные волосы кренделем на макушке, горбатый нос и мелкий вялый подбородок. Арфистка была пикантна тем, что имела на правой ягодице рыжую бородавку, тяготилась ею и потому постоянно спрашивала, как мне нравится ее сокровище. Когда я внезапно охромел и стал лечиться у Елизарова, то отвез арфистку к знаменитости. Хирург жену удачно выпрямил, и однажды во хмелю, забывшись, арфистка нечаянно открылась мне: «Ты знаешь, Павел, Саша Джабраилов считает, что бородавку можно удалить». Я все понял, и мы расстались без взаимных оскорблений, как лучшие друзья.

Сменила ее актриска: плотная, на голову выше меня, с толстыми зазывными губами и коровьими темно-сизыми глазами. Хорошо нагрузившись, она любила во хмелю ходить голой по квартире и, будто бы забывшись, выскакивала на лестничную площадку и поджидала лифт, чтобы подсмотреть, кто приехал к соседям. В деревне ей нравилось, раздевшись донага, скакать перед низким окном, воображая себя балериною, так что шлепали в нос великаны отвисшие груди. Однажды, боясь обидеть чувственную натуру, я мягко намекнул: «И что ты выпялилась перед окном, Зинуля? Это же деревня, здесь другие обычаи, и народ может не так понять». – «А мне наплевать на твой народ», – с гордостью ответила Зинуля. Завязалась, как водится, перепалка, что нередко случается у любящих. Она пробовала огреть меня скалкой, я звезда-нул актрисе кулаком промеж глаз. Актриса свалилась на пол, некрасиво раскорячась, и на лбу вспыхнул багровый рог. Зинуля встала, собрала чемоданишко и укатила к себе. У нее была своя квартира, и развод принес взаимное облегчение. Я понял: на чужой каравай рот не разевай.

Потом появилась «курсистка». Она посещала уроки «макrame». У «широй дивчины с под Кыива» были глаза, как перезревшие маслины, и широкие плечи штангиста. Не успела курсистка толком украсить рукодельем крохотную нашу квартирешку, как накатили с Укра-

ины, чтобы пожить с нами, два ее ненавязчивых братца, которые тут же приценились к моей библиотеке и стали таскать книги на барахолку...

Сменила же ее «марксистка». Она служила на кафедре политологии, была не глупа и привязчива. Спокойные серые глаза, курносая, насмешливая, сочный румянец на щеках. Постоянно таскала с собою в сумочке «родословное древо Маркса» и хвалилась в институте, указывая на боковую крохотную веточку, листочком на коей вылупилась она сама – Люся Смоленская. Я однажды ненадолго отлучился в институт за нищенской зарплатой, а, вернувшись, застал «марксистку» в нашей кровати с сантехником, приглашенным починить кран. Слесарь изучающе поглядел на меня, не найдя для себя угрозы, неторопливо оделся и, поигрывая разводным ключом, удалился. Люся опустила на колени и заплакала, прося прощения, но глаза в ту минуту были отчего-то ужасно злые. Я действительно был виноват, что не вовремя вернулся, но прощения просить не стал...

У русальниц оказались лица моих бывших супружниц, они улыбались, беззвучно окликали меня, разевали рты, пуская ожерелья пузырей, похожих на бисер, и взлгивали тугими хвостами, готовые приласкать меня по лобешнику. Тела их от пупка и ниже, покрытые серебристым клёцком, словно ковеной кольчугой, жирно лоснились и по ним, будто судорога любви, пробегала ярая дрожь. Я едва уворачивался и, не сердясь, грозил им пальцем, норовил ухватить резную раму, посреди которой мерещило и мелко рябило грустное личико моей Танюши, еще не обернувшейся в русалку... Вот так и маялся всю ночь средь оборотней, пылая любовью, горел огнем, и речная заводь не могла охладить мой пыл. Я сознавал, что это лишь сон, забавный и яркий, но распаленная плоть охотно отдавалась ласкам, недоступным в земной жизни. Водяницы заманили в свой хоровод, закружили, затерзали, испили до доньшка, и я, задыхаясь, удивляясь, что так долго могу жить без воздуха, ярился сам и не отступал перед заманухами. Странно, что в прежней жизни эти речные обавницы были со мною так постны, так сухи и желчны, вечно устали и тоскливы, когда любое неурочное прикосновение они считали за покушение на их свободу. Значит, каждая баба в своей стихии – откровенная прелестница, если распечатать ее и выпустить на волю. И я готов был умереть, чтобы угодить им.

Я вынырнул из омута, потому что кто-то жалливый стал звать меня с берега и не мог докричаться. Я с испугом подумал, что дома осталась мать, а я уже превратился в зверя, и в прежнюю шкуру мне уже не вернуться никогда, и с яростью, почти с ненавистью, отталкиваясь от скользких, отвратительно-змеиных тел, рванул наружу, в верхние пласты воды, под синье небо, под ярь-солнце, чтобы хоть в крайнюю смертную минуту увидеть себя человеком. Вот, говорят, де, в тело вмещается воздуха больше, чем в легкие; он заполняет каждый сосудец, каждую телесную жилку, каждую крохотную волоть, которая, слепившись с соседней мясиною, живет, однако, сама по себе, как былинка на лугу. И на этих-то последних бисеринках воздуха, словно бы подхваченных с губ русалок, что хранились в закоулках плоти, как в крохотных неприкосновенных кладовых, я и вынырнул под небо, разбивая головою ряску и жирную кугу, и жесткие сковороды лопухов, ослепительно сияющих лилий с упругими жироватыми стоянками, похожими на розовые канаты, коварно, предательски путающие мои ноги. Эти нежные с виду цветы, словно бы высеченные из итальянского мрамора, были, оказывается, холодны и упрямы и не хотели отпускать меня от русальниц, как и их, посчитав за своего полоняника...

Старбенья Анна, содрав с моей головы одеяло, высилась подле, как Кутафья башня.

– Ну и спать ты здоров. Не могу докричаться. Жены на тебя нету, лежень. Прибрала бы тебя к рукам, ходил бы по жердочке, – громогласно воззвала старуха, презрительно изучая мой тщедушный заспанный вид. Не найдя ничего примечательного, опустила у меня в ногах. – Мати-то где? Обыскалась, нигде нету...

Спрашивала о Марыюшке, но судя по тому, как плотно уселась на диване, устало кинув разношенные ладони в подол юбки, не больно ее интересовала моя мать. Я с трудом выдирался из сна, и вид у меня был, наверное, глуповатенек. Я еще резвился в реке, притирался к бокам и

спинам русалок, готовый излить молоки, я чувствовал их ярь, их тинистый горьковатый запах, шелковистую прохладную кожу, налитые, как арбузы, груди с бордовыми сосками, серебристые сполохи тугого, как у акулы, хвоста, шумно бьющего по воде, и жалел, что покинул их снова, вернулся к такой скучной, размеренной земной жизни. И одного лишь не мог вспомнить: сам-то я кем был? Сом-сомище с тупым рылом и по-казачьи обвисшими усами иль свирепый бобр-бобрище?

Нет, братцы, такие чувственные перепады выдержит не каждое здоровое сердце, пойдет вразнос.

Старуха не замечала, что сидит на моей ноге, а я не мог ее вытянуть из-под костистой задницы и терпел эту тягость, потому как она неожиданно помогала мне вернуться в явь. Так боль перемагают болью, а страсть новой страстью. Я жил в Жабках, закопавшихся в поречные травяные кочки, а весь огромный блистающий мир, сверкая огнями, шумно пролетал мимо, не задевая меня, оставляя в одиночестве посреди вселенского покоя около кладбищенских могил. Вроде бы ничего особенного и не случилось за лето, не считая гибели Славки-таксиста, но между тем я каждый день словно бы взбирался по лестнице в небо, убегая от грехов и коварных прелестей, догоняющих меня даже во сне, терзающих и вострающих душу. Когда душа не устроена, то в ней свищут сиротские ветры, и жизнь тосклива и бессмысленна. А я в этой глухомани сжигал себя пуще, чем в столице в гуще людского варева...

– Мой-то идол опамятовался. Поехал на велосипеде в Тюрвищи забирать заявление. Артём, голова ломтём. Задним умом думает... Зулус-то шибко горячился?

– Да нет, был веселый, – соврал я. – Песни пели.

Анна невесело уставилась на меня звероватыми глазками, видно, думала неясную думу, а словами выразить пока не могла.

– Кишки-то нажгли?

Я беспонятливо уставился на старуху, вяло улыбнулся.

– Бутылку-то всю выжорали? Небось выжорали, да и другую Зулус приспел? На кулачках-то не мерялись?

– Да ну тебя, Анна, честное слово, – я засмеялся, неожиданно веселея. – Ты же знаешь, что я не пью... Ни рюмками, ни гранеными стаканами, ни оловянными кружками, а только ушатами да палагушками...

– Мой-от покойничек тоже говаривал, я, де, не пью, а лечуся. Нашли лекарство. Уж худой лежал, еды желудок не примал. Найди, говорит, выпить. Ну я нашла, от Гавроша прятала. Дед с палец выпил, нет, откинулся на подушку, глаза закрыл и говорит: «Сразу помягчело. Хорошо-то как. Остальное, как помру, положи в гроб. На том свете выпью». Я так и сделала... Вот вам, мужикам, до чего вина хочется. Иному и женщина не нужна, а вино подай. Он-то, Зулус, тоже огорая хороший. Так-то тверезый, ну а как запьет, тут... И мстительный такой сразу делается, спуску не даст...

Анна, чувствуя ягодицею мою лодыжку, нарочито помялась на моей ноге, сделала удивленные глаза:

– Да у нас, кажись, там что-то есть? И неуж такой ядреной? Ха-ха! У Левонтьича, твоего соседа, вот такой, – старуха раздвинула ладони. – Он в сапог закладат. Мне-то все гоношится: Анна, пойдем за баню. Ха-ха...

Я покраснел, осторожно вытянул из-под старухи отекающую ногу, с нетерпением ожидая, когда явится Марьюшка и освободит меня из полона.

– Анна Тихоновна, вы меня, честное слово, просто удивляете. О Боге пора думать, а вы... И неуж сердце просит?

– Баба до смерти любви хочет, – убежденно сказала старуха, пошевелила истерзанными крестьянской работой пальцами, сжала в кулак. – На что похож? – сунула мне под нос. – На сердце похож. И тоже до смерти работает на износ... Вот ты акгрисульку сюда возил, у нее

тительки были, как подушки. А я чем хуже? – Анна гордовато повела плечами, покрытыми бордовой нейлоновой курткой, и даже присбила, красуясь, легонький цветастый платочек. Оборчатые сизые губы разошлись в хвастливой улыбке, показался железный подбор зубов. При виде разыгравшейся старбени я даже похолодел слегка и внутренне сжался, словно бы долгий ночной сон вдруг получил неожиданное продолжение, и та самая русалка, спрятав чешуйчатый рыбий хвост под юбкой и наведя густой грим на лице, решила сыграть роль престарелой любодевницы, у которой сердце ярится и не дает покоя...

Все шутки, конечно, деревенская игра: в любой избе и не такое представление застанешь, если угодишь на праздничные потехи или на семейные свары.

– Я тебя, Анна Тихоновна, боюсь. Честное слово, боюсь. Мне с тобой не сладить. Ведь, как из загса, то с улицы в дом надо невесту на руках занести. Как я такую медведицу вздыму?

– Дурачок ты, дурачок. Да я сама тебя занесу. Ты меня не бойся, Павлуша, ты Зулуса бойся. За ним горя ходят. Такой он меченый.

– За всеми нынче горя ходят, Анна Тихоновна. Покажите мне веселого человека...

– Веселого мало, Павлуша. Зулуса Бог пометил. Да... Когда его с работы попросили, он вернулся с севера в деревню. Грунюшка, его мать, уже на лавку села, ногами пухнуть стала. Ну и оказалась, значит, в обузу. Зулус справки в сельсовете выправил, что Грунюшка безнадзорная и бездетная. Врачам ручку подмазал. Грунюшка-то умоляла: «Феденька, допокой, мне уж недолго осталось жить». Тот ни в какую. Ну и услали Грунюшку под Владимир в богадельню. Через месяц она и помри. Привезли в Жабки хоронить, не узнать было подружку. Вся искарябана – и лицо, и руки, будто кто драл женщину. А правая грудь вся синяя, как чугун. Может, с той поры пошли за Фёдором горя? Тут меньший брат по пьянке попал под поезд: нашли лишь руку и голову. Вместе возвращались с гостьбы. Тут поезд... Зулус-то перебежал, а Веня споткнулся... Хоронил брата, сильно плакал. Где-то вскоре поехал с племянником в гости за Тюрвищи. Выпили, посидели, стали возвращаться. Племянник и говорит: «Дядя, дай порулить. Пустая дорога». Зулус-то и отдал руль. Парень машину не смог остановить и въехал в угол своего дома. Жигули крепко пострадали. Зулус и говорит: «Забирай эту машину. Эта машина мне не нужна. А давай деньги на новую». Племянник-то ему, мол, где я возьму тебе такую сумму. «Это уж твоё дело», – Зулус-то ему. Ну, племянник зашел в дом, а там у него было ружье. Вернулся на крыльцо да и застрелился на глазах у дяди. Вот, Павел Петрович, рассуди попробуй, чья вина перевесит... А зачем дал порулить? Опять же выпимши были...

– Не отдавай в чужие руки жену, машину и ружье, – неловко пошутил я.

Действительно, что-то странное, роковое складывалось именно с Зулусом, и он не мог противостоять этой сети несчастий, похожей на безжалостное улово. Залучило, опутало по рукам-ногам, потянуло на дно; или отдаться покорно, памятуя о том, что у всякого кружила есть дно, и когда-то крученая струя вернется вверх, или барахтаться до последнего, чтобы выбиться из сил и потонуть. У всякого человека случается подобный выбор, но его не подгадываешь загодя, а он сам подстерегает тебя, а уж как угодил, тут и решай, суетиться ли тебе или во всем довериться судьбе.

– Столько смертей на одну голову. Тут и каменное сердце не сдюжит... И зачем отрубился племяннику? Мог бы как-то иначе. А то и парня потерял, и машины не вернул.

– Вспылел сгоряча. Много мы лишнего говорим сгоряча... Вот и ты своему Гаврошу молишь: «хоть бы ты сдох с вина, хоть бы залился», – мягко укорил я соседку.

– Дак ведь зло возьмет! – вскричала Анна, не тая голоса. – Пьет и пьет, лешак. Думаешь, хоть бы записался, да отплакать разом, чтобы не мучиться...

– Ты вроде бы сгоряча посулила, а слова твои – судейский приговор. Они, как тавро, на крупе лошади, как метка. А мы так любим обижать ближнего, не замечая, что слово особую силу имеет.

Глаза мои увлажнились от проникновенного тона, даже в голове замурашилось, и я чуть не заплакал. Чтобы не выдать непрошенную слезу, я заскоркал ногтем по одеялу, словно нашел сальное пятно.

– А вы своих матерей почитаете? – закричала Анна. Мое покорство лишь поддавало жару. – Вы своим матерям жизни даете? А ведь она породила, выкормила... Вот и Зулус зачем мать не допокоил? Она-то ему: «Сынок, не спровоживай меня в богадельню. Хочешь, на колени встану. Не долго ждать-то осталось, потерпи... Умру, так после наплачешься». А он врачу подмазал, чтобы справку дал. А теперь вот и собирай горя. Все! Назад лошадь с кладбища не возит.

Я не отзывался, морщил пальцами белоснежную наволочку и во всем, безусловно, был согласен со старухой, хотя и были в словах ее какие-то закорючки, что цепляли мой ум и загоняли в тупик. В какой же страдный день был Зулусу высказан остерег, но он не внял ему. Откуда и зачем было ведать соседке, что моя головенка уже лет двадцать не знает отпусков и соображает, глупенькая, над каждым словом, разнося их по невидимым каталожным ящичкам.

– Вставай, лежень! – уже остывше, приговаривала Анна. Пыл ее иссяк, и бабьи мысли скинулись на постоянные домашние заботы. – Уже обедать пора, а ты еще и в туалет не ходил...

– Откуда знаешь? Подсматривала, что ли?

– Да глаза красные, как у окуня, – грубо ответила старуха.

Анна со скрипом встала, долго разгибалась, кряхтя, разламывала поясницу и так, на полу-согнутых, будто громадный рак-каркун с отвислыми до полу клешнями, потащилась к порогу, а там, взявшись за ручку двери, вдруг решительно выпрямилась и вновь обернулась медведицей.

10

Ночью страсть как донимало плотское. Это все от тоски-злодейки, от одиночества, от неясных дурных предчувствий, от нежелания доживать последние годы в бобылях, на сиротской угрюмой койке, когда и стакана воды будет некому подать. Это в народном представлении самое страшное. Самые бесхитростные слова, коими обычно укоряют холостяжку-перестарка, де, доживешь вот до таких лет, что один належишься, и глотка воды никто не подаст, но в них-то и скрывается драма человеческого бытия, его предназначения на земле – свить гнездо, укупорить его так, чтобы не подточили сеногнойные дожди и не обрушили бури, да наплодить детишек мал-мала, чтобы по ним, когда вырастут, продлилась родова, а значит, и человеческая память. Ибо истина в том, что искренняя память хранится не в мраморных плитах, не в кладбищенских надгробиях, не в гранитных склепах, но в человеческих головах, в коих вроде бы так непрочно запечатлевается образ ближнего, но, кочуя по цепи прекрасных людей, он вдруг обретает, воистину, вечный смысл. И особенно, когда ты творишь дела добродетельные или крепко злодейские, от которых леденеет кровь...

Еще возвращаясь от Зулуса и озирая одичалым взглядом едва проступающие из тьмы изобки, тусклую льдинку воды в обмелевшем пруду, серебряную рыбку месяца, я вдруг решительно подумал, как о последнем спасении, как вернуться в Москву, так сразу приду на исповедь к отцу Анатолию и попрошу благословения на женитьбу. Возмолюсь, паду в ноги, вот, мол, спасу нет больше, возложил ты на меня терновый венец, ярмо нестерпимое; де, где я сыщу вдову или девушку невинную, да чтобы мне годами вровень, ибо куда ни кинешь взгляд, к кому ни присмотришься, и коли мила сердцу, то обязательно она или разведенка, или мужняя жена, или слишком юна, или капризна и требовательна не по уму, или слишком благочестива – почти ханжа, или монашенка в миру, или денег больших хочет, не трудясь, или детей, опять же, не терпит. Сколько препон, сколько всяких неурядиц встает на пути благочестивого человека, если он решил обзавестись семьей.

Был же у меня приятель, художник, у которого умерла любимая супруга, и по прошествии времени, не стерпя одиночества, решил он в другой раз жениться, с этой мыслью начал поиски подруги и чуть не сошел с ума. Он хотел рассказать мне о своих злоключениях, но в тот самый вечер, когда я должен был прийти к нему на квартиру, милейший человек вдруг вздел себе петлю на шею. Урок, который он собирался преподать, так и не дошел до меня.

Вот и спрошу батюшку: и неуж ты мне желаешь подобного зла или хочешь закрепостить в одиночестве ради науки, ибо много тут мне видится умышленного, почти неистового, отчего ум мой приходит в некоторое смятение. Скажу, разреши мне взять в жены ту, что мила взгляду и незлобива, хотя бы и моложе была намного или разведена. Ведь ровня-то кроится по душам, а не по летам. Вот выскочит, к примеру, девушка за погодка, а тут вышли из магазина – и сверху кирпич на голову. К кому претензия, батюшка? То-то... Возмолюсь, окаянный: «Ну не могу я один жить, ну не могу, живым умираю: что ни съем, отравлюсь, что ни одену, простужаюсь».

Есть тут одна на примете, поет на клиросе. Ну прямо – ангел. Как взгляну на девоньку, сердце кровью обливается, столь ли хороша, ну прямо всем взяла: и повадками, и фигуркой, и взором, и голосок умильный. Взгляды столкнутся – сразу очи долу и на щеки румянец. Стеснительная, значит. Перебросились словом, другим. Однажды взял быка за рога, спросил, согласна ли за меня замуж? Головой кивнула: да. Прошептала: «Если батюшка согласие даст». А батюшка ни в какую, де, не по себе сук рубишь, не по твоим летам кобылка: или она тебя с седла сбросит, или ты ее до сапа загонишь... И пришлось мечты те из головы выбросить. А сколь хороша-то, другой такой во всем мире не найти. Это ж какое счастье, вставая по утрам, видеть ее возле.

Оглянусь, в окнах Зулуса яркий свет. Вот где сладкая-то жизнь, аж слезы на глазах вскипают. И за что же тебе, колченогому, такая немилость, отчего Танюшка не с тобой окольцована, а с этим хмырем, у которого кадык прыгает, как куриное яйцо, а в глазах ни теплинки, сплошной холод. А я бы эту женщину на руках носил, как пасхальный куличик, пылинки бы с нее сдувал, ведь во мне столько ласки скопилось...

А ночь лишь минула, и все недавние переживания, как хмарь, как дым костровой весенний, от запаха которого вдруг так истомно встопорщит сердце, будто от молодого вина. Но, однако, все блажь – и больше ничего. Если от каждой юбки кружит голову, значит, не видать тебе крепкой семьи.

Да нет же, нет, негулевания, не волокита и никакой не донжуан, чтоб пенки невинности снимать. Тревожит один и тот же тип русской девушки, как бы слепок с недостижимого образа, и невольно отражение его накладывается на каждую встреченную, и душа иль сразу отвергает ее, иль обмирает. Это на небесах для каждого парня высватывается своя голубица, своя княгинюшка, и эта икона, спускаясь на землю, как бы запечатлевается в сердце суженого, и он ее хранит в себе до скончания жизни, не зная, откуда в нем зародился идеал и почему о нем такая тоска. Иное дело, что очень редко в толпе отыскивается завещанная и чаще всего – случайно. И тогда ты повенчался с невестой не просто в церкви, а на небесах, и в храме возле налоя обряд был лишь повторен...

Какой красивый миф насочинял я, психолог Хромушин, в оправдание своей семейной нескладицы. Де, не совпало-де, поторопился и заблудился-де, помануло и обернуло... Увы, последнее, пожалуй, самое правильное, кота в мешке берем за себя; невеста – чистый ангел, а в жизни – сущий дьявол в юбке. Вот и пойми их, крапивное семя – женское племя. В народе-то куда все проще: «Бери быка по рогам, парня по мудям, корову по вымени, а девку по имени». Это грубоватое присловье, наверное, восходит к тем древним временам, когда будущая свекровь осматривала невестку, а тесть – зятя. А может, говорились: «Бери парня по трудам» иль «бери парня по родителям», по их достатку, норову, благочестию. И не мила вроде бы первое время, да после стерпится-слюбится. А еще говорят: «Бери за себя ту, которая на тебя смотрит». Или: «Бери ту, которая глянется».

Мудер ты, Павлуша, задним умом. Уж вторые петухи пропели, а ты вновь семью водить собрался. Как бы не заплакать после. Пора деревянный бушлат примерять да место на горке присматривать, старый хрыч. Бес тебе в ребро, ей-ей. Нейдут, милый, тебе все науки впрок. Но других учить шибко любишь, хлебом не корми.

* * *

Марьюшку я нашел в заветном уединенном месте, куда она частенько забивалась, как в скорлупу, словно бы возвращалась назад в материну рожалку, и, свернувшись в клубочек, подтянув колени к подбородку, замирала надолго иль свертывалась в клубонечек, будто улитка в укромной пазушке боровика, прильнувши к теплой, пахучей, ноздреватой бахrome.

На замечке в дальнем конце огорода, где из года в год лежат нетревожные суходолы, повитые мелкой шелковистой осотою, растет могучий вяз, подпирая головою кучевые облака, а то и пронизывая макушкой слоистые дождевые ряднины, выстилающиеся над деревней. Сколько лет этому великану, в Жабках не припомнят, но верно, что стоял он еще в те поры, когда деревеньки не числилось, но жил на пустошке однодворец – рыбак, не убоявшийся половодий и приткнувший свою хижу под самый берег реки. А тогда времена были иные, и Проня была иной, лихой, полноводной, струистой, по ней гоняли плоты и таскали бурлаки баржи, по ямам водились трехпудовые сомы и пудовые шуки, а с Оки заходили судак и стерлядь. Вон тот, дальний, синеющий ольшаниками берег и выдает прежнее, давно утраченное русло, которое со временем скукожилось, ее дивные разгульные вешницы, когда льды, похожие на стада

разлегшихся тучных коров, выставяло аж на домашний крутой берег (где нынче кладбище), к которому и приткнулись покорные Жабки.

Мне нравилось измерять охватом рук кряжистый ствол, теплый, шероховатый, с глубокими трещинами от старости, будто изъеденный поползухами. Он словно бы покрыт был глинистосерыми лемехами, малахитовыми по швам, ловко уложенными друг по дружке мастеровитой рукою, без единого гвоздя и особого клея иль вара, надежно защищающими твердую, как железо, болонь и незатихающее сердце дерева. По моим примеркам, вязу было лет за двести, корни, как сытые питоны, выпирали наружу; словно бы из клубка полусонных щупальцев осьминога, прорастала длинная шея с крохотной волосатой головенкой, высматривающей, что творится в небесах под самым солнцем. Вяз вполне мог бы стать капищем для древлян, новых язычников, верующих лишь в дух сырой земли, как матери-роженицы. Если бы оказался он волею судьбы где-нибудь в ковыльной степи, то к нему бы со всего света потянулись паломники, вешивали бы по корявым ветвям разноцветные лоскутья, откалывали бы от великана осколки коры для лечения зубов и почечных колик. На вершине его наверняка бы гнезвился орлан – владетель местных уловищ. В жаркий день одинокий путник обязательно бы бросил на припорошенную трухую землю свой потасканный пиджачишко и, не долго разглядывая цветные ленты, трепещущие под ветром, смежил бы веки и задал бы короткого, но весьма полезного для здоровья храповицкого.

Приобнимая тело великана, с одной стороны рос разлапистый можжевеловый куст, чудом пробившийся на чужинке, и в этом месте оказался засидок, сторожка, скрытая, куда можно было упехаться в знойный день, бросив под ноги пальтюшку иль поставив сидюльку. Матушка же моя положила туда дощечку и обжила потаенное место, хотя, казалось бы, чего прятаться от людей, в избе не семеро по лавкам, не надоедят криком. Значит, даже я раздражал Марьюшку порою своим присутствием, выдавливал ее из кухни, заставлял искать одинокого места, чтобы полностью отдаться своим мыслям. Старая без людей тоскует, потому часто вылезает на лавочку перед избой, чтобы переброситься словом с проходящими иль просто поглазеть, иль ползет к соседнему палисаду, где уселась на скамье на долгую минутку другая старбенья, но краше всего, оказывается, монашьи минуты полного утекания в тишину, растворения в матери-природе, превращения в безмолвную соринку, затерявшуюся меж древесного праха.

Осторожно, стараясь не шуршать осотой, я подкрался к вязу, опустил на колени, в прожилках меж паутины молодых веток, густо опушенных еще не затвердевшей хвоею, отыскал глазок для тайного досмотра. Как я и представлял, Марьюшка моя уютилась там, уткнув голову в острые коленки, и о чем-то думала, присомкнув веки. Сумеречно было в схороне, и от зеленого туманца, витающего в шалашике, лицо Марьюшки казалось тонким, нежным и молодым. Приобвыленная темная кожа как бы вобрала в себя все морщины, прильнула натуго к скульям, и сейчас мать моя походила на древний староверческий образ Богоматери, чудом покинувший деревянную досточку. Платочек шалашиком, присдвинутый на затылок, тонкие волосы на пробор, отложной воротник кофты, скрывающий худую потрескавшуюся шею. В каких просторах она парила умом, в какие дали слетала, о чем помыслила? А может, ни о чем и не думала, изнежась плотью в прохладе скрытни, а просто отдыхала всем измаянным, изжитым существом своим, сливаясь с матерью-землею, готовясь к переходу в ту заветную пустыньку, откуда нет возврата. Итак, погрузившись в себя, Марьюшка могла сидеть, не шелохнувшись, и два часа, и три, пока стылость от древесного праха и шершавых кореньев не проливалась в ее измозглые кости и нитье старых мослов не доходило до сердца, и тогда Марьюшка выпрастывалась из плена раздумий и, пошатываясь, как бы хмельная, огородам спускалась к дому, чтобы снова хлопотать обрядню.

Спросил однажды Марьюшку: «Мама, о чем ты думаешь, когда вот так сидишь?» – «А о чем, сынок, думает старый человек?» – просто ответила Марьюшка. – Старый человек думает о смерти с утра до ночи. И помирать бы надо, пора приспела, и помирать неохота...»

Сейчас, занятая собою, телом своим слившаяся со шкурой вяза-великана, она, казалось, была уже по ту сторону света, уже недостижимая для меня. Я испугался внезапно, что могу потерять ее навсегда, и тихо позвал, стараясь не выпугать:

– Мама!..

Марьюшка не всполошилась, нет, она даже и не вздрогнула, но мерно перевела остывший взгляд в мою сторону, нашарила меж розвесей ветвей мои глаза и спросила сухо:

– Ты давно здесь?

– С год, наверное, а то и поболее...

Но Марьюшка не поняла моей шутки, тревожно вскинула голову, как будто разговаривала с привидением. Она неохотно возвращалась с той стороны, и только жалость ко мне пока оставляла старую на этом берегу.

– Ты взаболеть?..

– Не вру... Мама, а можно я посижу рядом. Ты – щепинка, я – щепинка, прильнем и уместимся. Мне много места и не надо. А то мы всегда разделены то обеденным столом, то ненужным разговором, то печалью, то заботами. Ты, как птичка болотная, как турухтанчик, – один нос, – посмеялся я, стараясь вывести матушку из страны смерти. Я отчего-то догадывался, что она сейчас побывала там, и грусть от встречи с будущим все еще держит ее на расстоянии от живых.

Я пролез в шалашик и в действительности, по сравнению с Марьюшкой, оказался грузным, тельным и занял все тенистое укровище, лишил матушку блаженного уединения, покусил на ее свободу. Марьюшка, как беззащитный небесный барашек, оказалась где-то внизу, под плечом, и крохотные коричневые лапки, покрытые просторной обвисшей кожей, казалось, были всунуты в чужие разношенные перчатки, но все так же цепко обнимали шишковатые коленки. Я прижал Марьюшу к себе, ладонью ощутил ее слабые хрупкие косточки, беззащитное безмясое плечико. От нее пахло старым, изношенным, смертным, как пахнут очень старые люди, из которых уже выветрилось все живое, а изо рта вылетает горьковато-удушливое прощальное дыхание.

Марьюшка не отодвинулась, она даже не шевельнулась, не уступила и краешка своей волшебной досточки, на которой можно улетать в другие миры, и я с трудом уцепился за конец сидюльки одной ягодицей, а вторая половина тела оказалась на воле, под раскидистой сенью вяза...

«Боже мой, куда все отлетело?» – поддаваясь настроению матери, подумал я. Давно ли Марьюшка была тельной, с заревом румянца во все широкое, скуластое лицо, с тяжелым ворохом волос, которые едва продирал роговой гребень, испроточенный когда-то мастеровитым дедом на звериных ложах. Я лежу под столом на полу, покрытом тонким сеевом муки, и сообщаю по-мальчишней привычке каких-нибудь кудес и проделок, чтобы убить время, а мать, будто молотобоец, лупит кулаками, выминает шмат теста, такой огромный оковалок, которым накормит целую деревню, переваливает его с боку на бок, нянчит и прихлопывает добродушно, вынимая из него леность и лишнюю истому, потом режет на ровные доли и швыряет в закопченные формы. Я знаю, что под материной рукою всегда останется, будто случайно, заскребыш из чана, ошипок от катыша, из которого мать сварагулит мне пышечку с «таким», загнет кренделек или плюшечку, посыпав ее сахарным песком. После зевластая, в пол-избы, печь заполыхает заревом, а так как обрядня обычно творилась в ночи, пока деревня спит, то языки пламени, как рыжие собаки, замечутся вдруг по углам пекарни, добывая меня из норы, и вся зоревая, будто покрытая кумачами, стряпуха застынет возле творильни, дожидаясь протопки, и уставится взглядом в чело, как горновой у мартеновской печи. И вот времени того уже нет, и мать прогорела, как березовое поленце, остался лишь живой, едва искрящийся уголек с последними уходящими струйками тепла.

– Человеку нет дела до мертвых, и тогда мертвые помирают другой раз, – вдруг нарушила тишину Марьюшка, уставясь в колючий полог можжевела с розвесью крохотных, со спичечную головку, голубых ягодинок.

– Это ты к чему?..

– Мне всегда мать к оттепели снится. А тут отец показался, напомнил о себе. Десять лет не снился... Стоит на берегу реки, река похожа на нашу Суну, но пошире, кажется, да. Этот берег голый, каменистый, а другой – лазоревый, сияющий. Ну я удивилась, спрашиваю батюшку: «Ты разве не там?» И показала на небо. А он сказал: «Здесь. Перевожу на ту сторону. Перевозчиком работаю». – «А за что тебя отметили?» – «А когда царя с детишками стреляли, я молился тогда и горько плакал. И вот Бог меня отметил. Теперь перевожу мертвых».

– Так и сказал? – удивленно переспросил я.

Тот сказочный недостижимый свет вдруг приблизился на расстояние вытянутой руки и стал различим в мельчайших подробностях. Каменистый берег, хмурая сизая река, черная остроносая лодка, сиреневая дымка на той стороне и задумчивый работающий дед с веслом, кочующий из небесного мира в земной. Он где-то погиб в сибирях в одном из лагерей, закопан под мхами, истлел до белояровых бессловесных косточек, а может быть, и не зарыт вовсе, выброшен за сопку, как падаль, и пожран песцами, и вот явился с того света с вестью к дочери, дал знать о себе, а может, и намекнул, де, собирай, родная, вещички. Значит, и перевозчик Харон – не сказка, и река мертвых – не пустая выдумка священцев, и все это живет где-то рядом с беседкою из можжевела, в которой затаилась печальная Марьюшка.

– Надо свечку поставить, – глухо сказала мать. – Ишь, вот позвал. Не знала, где закопан, а вот сказался.

– Не надо о грустном. Жить будем долго, да? Ну куда без тебя? – поддельно бодрым голосом воскликнул я, почувствовав в признании матери горькую правду.

Порыв ветра прошел верхами, причесал макушку вяза, полетели семена, посыпались белые, как изветренная кость, сухие сучья и клочья древесной шкуры. Вдали треснуло, сгрохотало, словно у реки раскатились из штабеля бревна, догоняя и стучаясь друг о друга. Небо почернело, и в схороне совсем стемнилось, как в ночной избобке, когда внезапно погаснет свет. Матушка моя совсем пропала, только раздавалось сбоку ее мерное натужное сопенье. Я сжимал сухое плечико Марьюшки, словно боялся потерять, но чувствовал в нем непонятное сопротивление, будто старенькая отодвигалась упорно, уже собираясь с пожитками в путь.

– Позвал... Да я-то не у места. Совсем несобратая. Свез бы ты меня, сынок, на родину, – неуверенно попросила Марьюшка, и голос ее обидчиво дрогнул, словно я уже отказал в просьбе.

– Опять за свое? Тебе со мною худо, да?

Сердце защемило от предстоящего канительного разговора, что повторялся уже в сотый раз. Умом-то я понимал, что мать права, ее терзают мысли, что она застряла в чужом месте вовсе без пути, сама себе закрыла дорогу, польстившись на жизненные удобства, что не могла вытерпеть юдоль свою, поддалась нервам, захотела благополучия, и вот теперь получай расплату. Назад возврата нет, транспорт дорогой, все связи обрезаны. Хорошо хоть на хлеб хватает, не ходят по людям побираться.

Я читал мысли Марьюшки, как свои, и от этого мне становилось еще горше. Все какие-то перетыки, несрядица, и вот и сам-то я окопался в болотных Жабках, до которых мне вовсе дела нету Меня, будто пушинку одуванчика, сдуло ветром со стоянца и понесло по белу свету, пока не зацепился за придорожный лопух...

– Мне не худо с тобой, Павлик. Ты должен понять меня правильно и не обижаться... Я вот не у места. Как ты хошь... Я женщина уже старая, а старым не пристало мешать, они должны как-то жить сами. А я только путаюсь у тебя под ногами, как чебодан без ручки... Старому человеку нельзя далеко от родимого места съезжать. Где гриб родился, там и пригодился.

– Перестань! Прошу тебя, перестань. Зима скоро, замерзнешь одна, околеешь. Схоронить будет некому. Мыши съедят. – Я нарочито сгущал краски, чтобы образумить Марьюшку. – Изба прохудилась, в дырья ветер свищет, мыши обои обгрызли. С ума сошла?

– И ничего не сошла. У меня дома богатства-то сколько кинуто, ой! Одних дров на пять зим. Сколько ли поживу, сынок, как Бог даст, – укреплялась в своем мнении мать, но уверенности в голосе не было. Какая-то трещинка сквозная разбивала ее, ибо понимала старая, что никто ее в Нюхчу не повезет, и все ее пересуды лишь для красного словца, чтобы скоротать время. Но как сладко, однако, будоражить душу, тормошить, вгонять в смуту и после долго переживать за отчаянное решение в своем углу, охая, пристанывая и крестясь, пока-то не потухнет оно в усталом забытье. – Люди как-то живут, верно? Лавка есть, сброжу, мороженую курицу куплю, на неделю хватит. Сосед Мишка рыбки даст, за бутылку с ведро насыплет. А рыба в Нюхче скусная. Здесь-то как бы прелая, на тину отдает. А на Чайке сиги жирные. Вода светлая, и сиги жирные. А на Пачуге вода, как смола. Я удивилась, сколь черная. Окупнешь руку, так вода-то с пальцей, как деготь. Ой-ой. Отец, покойничек, не любил туда ездить, потому что рыба невкусная. А по Суне рыба опять не жирная, но вкусная, мясо крутое... Бывало, отец-то на охоту пойдет, лебедей набьет, да. Суп из него наваристый, жир желтый, не парит сверху. Думаешь, холодный. Я помню, хватанула ложку и ожглась. Все и засмеялись... А пушнины-то висело полное запечье.

Тата строгий был, он вольностей не терпел. Чтобы все по-евонному. Помню, как тороканов морозили, да. Выйдем, бывало, две ночи ночуем в людях, отец уже назад торопит: «Ну-ко, бабы, идите, топите избу». И заругается. Мы давай избу мыть, да тороканов выметать. А скотину держали, так мытья много, вениками шоркали, чтоб добела. Тогда ведь не красили полы, такой моды не было... Отец не любил в чужих людях жить. Сейчас тороканов прежних в деревне нет, все перебрались в города. Уйму им нет. Все черти да лешие туда, и тороканы за има следом.

Марьюшка говорила все тише, как бы засыпая, и по тону воспоминаний я понял, что внезапная горечь, тоска от разлуки с родиной опять на время отстала, дала передышку. Тут молния сверкнула совсем рядом, зашипела, как змея, разевая ядовитую пасть, даже запахло паленым, и следом такой гром ударил, что земля подпрыгнула. Марьюшка охнула и порывисто прижалась ко мне, охапила, спрятала головенку где-то под мышкою. Вяз зашелестел, заперевирал листвою. Дождь пошел плотной стеною, водопадом, и сразу по шелковистым осотам, не вспарывая земли, побежали пенистые ручьи, свернули в борозды огорода и промежки и, минуя огуречные грядки, обогнув избу, доскочили вприпрыжку к Проне по своим полузабытым окаменевшим руслицам. И тут же гроза откинулась в сторону, Наверное, закрепились за кладбищем, отвоевываая высоту, занятую усопшими. А в норище за можжевелем было покойно, сухо. Мир, ополоснутый дождем, приходил в себя, распрямлялся, пахнул терпко и пряно, видно, каждая травина, каждый цветок, вспоминая себя, ершился, отпрядывал от земли, приподымал голову, осматриваясь окрест.

– Трусиха, ты, трусиха, – подначил я мокрым голосом. Мать волгло, хрипловато засмеялась, как закашлялась, наверное, давила слезу.

– Худо мужичишко, да затульишко, – хлопнула меня по спине.

– А ты ехать куда-то собралась в медвежью берлогу. Одна-то в старом доме, как в аду.

– Одна в своем доме, как в раю. Сама себе указ... А захочу, старичка себе в пару найду. Станем поживать, как куколки. И что? За мужика завалюсь, никого не боюсь. Одна-то, как ива без огорожи, каждая коза обглодает.

– Да ты не замуж ли, мать, собралась? – спросил я мать распевно и весело, чувствуя, как она выплывает из печальных раздумий, и, давно ли еще желавшая одиночества, сейчас уже побаивается его.

– Собралась за поровнюшку-домовнюшку да за могильный крест. Ты все, сынок, шутки шутишь. Увез меня да спрятал под боком, а я все одно, как стог неогорожен, всякая скотинка ощиpltет... Анна же сватала меня лонись иль нет?

– Так у Левонтьича жена на лавке еще живая. Отбить решила?

– А я подожду... У меня подруга была в Нюхче, Ольга Стяпановна. У нее батько был Стяпан и мой батько Стяпан. Красная лицом, как пламя, здоровущая, брови черные, густые, как у Брежнева. Ну к ней сватался Герой. Он был на войне контуженный, а так ничего... Иногда, правда, паралик его тряс. Тоже вдовый был, и все похаживал к Ольге Стяпановне и уговаривал пойти за него. А Ольга ему: «Отпиши на меня дом, тогда пойду за тебя». Боялась, что переживет старика, а после его выгонят вон на улку. И так года два тянулось. Потом у Ольги Стяпановны болезнь какая-то вышла, скинулась в рак. Проход заболел, да. Одногo рожала, кажись, не могло бы случиться. Придет ко мне, плачет: сын обижает. Вишь ли: одного родила, да и тот забижает. И слезы текут, как чурки. Потом ходить плохо стала. Ходит, стулом помогает. Говорит: «Скоро ли меня Герой к себе замуж заберет?» Уж теперь в другой домок. А Герой-то, коли задумал жениться, решил крышу подремонтировать. Полез наверх, да с сердцем что-то случилось. Зашли на дом его сымать, а он уж мертвый... Ольга Стяпановна пережила его на год. За собою увел...

– Так она умерла, что ли? – удивился я. – У нее щеки всегда, как зарево. Бывало, придет в гости, поклонится в пояс и сладко пропоет: «Здравствуйте, Павел Петрович, умная головушка». И брови помню, как беличьи хвосты, и глаза, как смоль. Я думал, до ста лет жить...

– Кому с кем суждено обвенчаться, дак и смерть не разорвет... Ты долго тут куковать собрался? Дай матери ходу. – Марьюшка в шутку толкнула меня в бок, я дурашливо повалился кулем из скрытни на ослепительно сияющий лужок, умытый дождем. Тут в деревне раздался крик, мимо нашей избы побежали люди. Выскочила, накинув на голову нейлоновую куртку, баба Анна. Оставив под вязом Марьюшку, я поспешил огородом в заулк. Слышно было, как на все Жабки завывала с протягом Анна, запричитывала жалобно, будто кого отпевала. У пруда толпился народ, в раскоряку, опираясь на громадный разбухший комель, лежала рухнувшая ветла, далеко разбросав ветви. Левонтьич прошагал мимо меня, хлябая просторными сапогами, похожий на клоуна Карандаша: лицо суровое, глазки, как шмели, и нос торчком. Скрипуче доложил, не замедлив шага: «У Анки корову гроза шваркнула».

«Вот она, жизнь-то, – жалостно подумал я, – Каждый день какие-то горя, словно бы выпустили из черного угла на белый свет, и они бегут чередою, шерстя безответные избы, подметая лавки и сусеки. И без того-то не брагой-медом дорога улита и не вымощена пряниками печатными, так вот вам, человеченки, дегтю, смолы да вару под ноги».

Еще пять минут назад три коровы, последние в Жабках, жались от дождя под деревом, так именно ее, Пестроню, и отыскала молонья, и вымя у нее почернело, как уголь-антрацит. Старуха упала на выпуклый холодеющий бок, сейчас похожий на придорожный камень-одинец, чудом проросший из земли, как диковинный гриб, и давай гладить животинку да целовать белую звездочку во лбу. Не просто скотина погибла, а подруга, товарка, семейные котел да каша, ведь с молока нынче жила Анна, из этого ныне счерневшего вымени капали в старушечью ладонь пусть и жалкие, но «денюжки», такая весомая добавка к нищей пенсии. Животинка-то еще не старая, шестого телочка на пасху принесла, самое молоко от нее. Оставшиеся в живых коровы, со страхом озираясь на покоенку, отступили от пруда и вдруг истошно затрубили, задрав морды в небо. Хозяйки погнали скотину по дворам, боясь, как бы те не ошалели с горя да не дали бы деру в болото.

Подошел Зулус, дергая деловито посеребренный ус, задумчиво сказал:

– Целая гора мяса. Где Гаврош-то? Пропадет ведь. Надо кровь спустить, шкуру снять да требушину вынуть...

– Да ты что, парень? Оглупал совсем? – загалдели бабехи, бестолково гомозящие возле. – Кто такую пададь жрет? Оттащить надо скорее и в яму зарыть.

Анна оторвалась от коровы, с трудом разогнулась, пальцы ее мелко дрожали, скреблись по груди. На нее было жалко глядеть. Вот пришла беда – отворяй ворота. Хозяина нет, сын, как нарочно, в отлучке, надо самой решать дело скоро и толково, нанимать мужиков, чтобы те отвезли пададь, зарыли, а за работу опять бутылка – да и не одна.

– Сейчас бы в город... За милую бы душу употребили, – снова подсказал выход Зулус, но бабья христианская душа, привыкшая к древним обычаям, восстала, ведь веком таким мясом брезговали, это как бы нечистая сила наложила на корову свою печать и взяла себе в дань. А нам ли ратиться, коли сам Господь не пособил...

Снова появился Левонтьич. В сером пиджаке с длинными лацканами, загнутыми, как уши у гончей, темная рубаша плотно застегнута под кадыком, лицо гладко выбрито, на скуле газетный лоскуток с розовым отпечатком крови. Сходил, побрился, помылся и пришел на коровьи проводины. Сказал ворчливо, ткнув пропадину сапогом в острый крестец:

– И на хрена тебе, Анка, корова? И плакать не надо. Не человек ведь. Подумаешь, корова, – протянул Левонтьич сквозь зубы. – Какова посуда, таковы и удои. Без посуды какое молоко? А у нее вымя с кулачок. И выгулы нужны, луга заливные. А у нас что – ходят, кочерыжки сшибают... Откуда будет молоко? Отдыхай, бабка! Хватит убиваться. Так тебе сам Бог поставляет.

Анна зверовато зыркнула на Левонтьича, готовая пришибить одним щелчком, но смолчала. Ей, оказывается, только этих слов и не хватало, чтобы пересилить первые горестные минуты, – так решил я, глядя на соседку. И неуж этот гриб-боровик зазывал медведицу в кусты полежать? Но что-то такое важное было в приземистом коротконогом старике, в его повадках, в голосовых тонах, в высоко задранной голове, на которой весомо покоилась приплюснутая бархатная кепка, что заставляло местных бабенок клонить перед Левонтьичем голову. Старик решил, что по корове выть грешно, и все тетки разом осушили глаза и заговорили о том, что и рыба нынче плохо ловится, и червь яблоки поел, и стыкла не растет, помидор не завязался и огурец ушел в пустоцвет, нечего закатывать в банки. И Левонтьич тут же подвел суровый итог:

– На пустом месте живем. Пустые мы люди, и живем на пустом месте. Вот я помню в Конотопе яблоки. Грызешь – не чувствуешь, зубов не надо, во рту тают. А наши – херня, не яблоки. Молотом колотить надоть, никаких зубов не хватит...

Народ незаметно растекся, пропал. Анна тяжело вздыхала, отрешенно глядя на кормилицу. Глаза у коровы остекленели, на шерстяной, в завитках, лоб, на белую звездочку откуда-то слетели синие мухи, поползли на веки, на уши, на вывалившийся разбухший язык.

– Ты бы помог мне, Федор Иванович, – угодливо попросила старая. – Я ведь не задарма. Я оплачу. – Она заплакала. Впервые я видел такие тяжелые крупные слезы. Они не катились по рытвинам морщин и по черствому лицу, но падали отвесно, как свинцовые пули. – Она ведь ведерница была. Как теперя жить стану?

Зулус молча ушел, высокий, костистый, слегка сутулый в плечах, руки тяжелые, как гири, болтались перед коленями, словно бы им не находилось места на этом теле. Вскоре распахнулись ворота, затарахтел тракторок, лихо выскочил к пруду. Ярκο-красный, порывистый, еще не разношенный по лесным хлябям, он походил на божью коровку. Рядом с отцом сидела Таня Кутюрбе в голубой джинсовой панаме. Следом, подтыкая каждый шаг лопатой, лениво брел зять. Тросом подцепили тушу, задами деревни поволокли за березовый колок. Я тоже взял штыковую лопату, отправился следом, чтобы помочь. Дождевую наволочь скоро раздернуло, проглянула жаркая ослепительная синь, телу стало истомно, а сердцу маятно, захотелось забраться под кустышек и забыться...

11

Корову решили помянуть. В избу не пошли, а сели в огороде возле баньки. Хозяйка принесла бутылку «самопальной», свежих огурчиков и миску вареных яиц. Хлеб, седой от старости, ломали руками. Посуда нашлась тут же: спряталась в тёнечке возле колодца, всегда готовая к действию, только руку протяни. Зулус разлил по стопкам. Каждый взял по стекляшке и, не донеся до губ, отчего-то замер, отрешенно глядя на блекнувший к осени огород, по-которому ползло отражение уплывающей разродившейся тучи. Татьяна уселась в сторонке на порожек бани, жевала жесткий стоянец каравайника и провожала взглядом мохнатый облак с розовой оторочкой по склону, откуда должно было открыться солнце. Внезапная задумчивость не разделила гостей, но, напротив, вдруг соединила всех нас, сидящих за убогой столетней, сколоченной из старых тесин, за немудрящей снедью, за бутылкой «желудочной», которой употчевали всю Россию, чтобы мы всем гуртом поскорее скатились в ямку.

Хозяйка не плакала, лишь затвердела лицом и посерела щеками, часто смаргивала крохотными глазками, словно бы в них насыпалось песку. Не успели по первой принять на грудь, как незванный приплелся Левонтьич. Коротышка, весь ушедший в корень, он будто гриб-боровик воткнулся возле трапезы, присдвинул бархатную кепку к затылку и, протерев парной лоб, цепко устался на стол, сосчитывая налитые рюмки. Для него посуды не было, и Левонтьич укоризненно крикнул, взглянул на хозяйку. Анна поняла без слов, нагнулась, достала из травы еще стекляницу.

– Левонтьич, бери мою. Я не пью, – предложил я.

Но старик даже не взглянул на меня, он требовал почета.

– Анка, заводи теперь козу, – сказал скрипуче и глазками цепко обшарил высокую костлявую старуху, сложившую изработанные красные ладони под животом, словно бы подпирала просевший курдючок с засохшей родильницей. Вот также баба, что на сносях в последние месяцы, придерживает споднизу грузную рожалку, чтобы до времени не выпало из матницы спешащее на свет дитя. – Коза хорошо. На стол поставил и дои. Только успевай за сиськи дергать. И молоко, как сметана, хучь ножом режь. До ста лет проживешь да еще детей настряпаешь. Не журись, Анька, вот моя Палата помрет, я тебя к себе уведу. Хотя коза-то есть, дак и бабы не надо. Хи-хи. – Левонтьич вдруг визгловато засмеялся, запоздало прикрывая рот, в котором торчали три рыжеватых осколочка. Конечно, такими зубешками рязанских яблок не поколупаешь, если только через терку надрать...

– Тьфу, касть... Коза-то пахнет вонючим мужиком-перестарком, а молоко – портянками. Да по мне лучше сдохнуть.

– Всякий запах от природы не чужой, – рассудила Марьюшка. – Иной, кабыть, и нескусной дух, а мужикам нравится, и все тут. А девки ти мажутся духами, дак они-то, думаете, из чего?.. Сказать грешно и стыдно... Я вот белых козочек люблю. У них ангельский взгляд.

– Касть... Вреднее козы-дерезы никого на свете нету. В каждую щелку лезет, – стояла на своем Анна. – Чего не пьете, мужики? Уж все вино в рюмках сквасили.

Анна выпила лихо, по-мужицки, утерлась рукавом. Тоска облаком набежала на лицо, всколыхнула сердце, и старуха, готовая снова восплакать, глубоко вздохнула. И моя мать, чтобы отвлечь соседку от горя, поспешила на примирение:

– Я-то пролетарка. Родилась в деревне, а пролетарка. Веком скотину не держивала. Скотину-то держать – надо пересажаться. Все на хлебном паре. Хотя родители мои много скотины водили. А мне не пришлось. Я все квашню нянчила.

– Корову таком не выкормишь... Я не люблю, когда корова шершавая. Привели из колхоза – скелет, шерсть по метру, на коленях мясо видать. А чем кормить? Хлеба по две буханки на день. Две пенсии в месяц в нее вколотили, пока поставили на ноги. Сколько я в нее денег

ухлопала. И какой прибыток? Паси через день, сенов наставь, Гаврош косить не хочет, мороз не мороз, а в хлев с лучиной в зубах иди, одной воды сколько надо из колодца перетаскать, комбикорм кусается, дороже шоколаду. Лучше сходить в Тюрвищи, купить бидончик, на неделю хватит. Много ли мне нынче надо? Всю прошлую зимусь опять свет отрубили...

– Я и говорю, Анка, заводи козу. В запечек поставила, попонкой накрыла, подушку ей под голову. Живая душа, и тебе тепло. Хоть мужиком пахнуть будет.

– Артем и без того всю избу продымил. Дыхнуть нечем... Вот ты, Левонтьич, когда в баню ходил?

– А, кажись, прошлую зиму топил. Медведь-то не моется, а сколь яр. Ты чуешь?.. Фёдор Иванович, освежи рюмашки.

– Не везет мне на скотину, – печально протянула Анна. – Это уже шостая коровка на моем веку. Одна резиной объелась, любила резиновые сапоги. На помойке найдет старье, все выгрызет. И молоко было, как резина... А другая любила в баню ходить. Рогами щеколду откинет, зайдет, мыло съест, воду мыльную выпьет, полотенце на шею, да и оботрется...

– Загинай больше, – усомнился Левонтьич. А глазки острые, как шильца.

– Вот те крест. На кой мне врать? – перекрестилась Анна. – А вот корова была у меня бодучая, прямо страсть господняя. Пока доишь, намучаешься. И вот на Грунюшку налетела, рогом титьку отсадила. Что делать мне? Корова моя забодала, мне и отвечать. Думаю, а ну помрет?

Анна внимательно посмотрела на Зулуса. У того посеребренная голова лохматым кочаном, на темном худом лице катаются желваки. Вроде бы ему надсадно было сидеть за столом, но и уходить не с руки, не все еще выпито. На заулке возле кладбища напрасно тарахтел «колесник», сжигая соляру, и надо было отогнать трактор домой. Зулус бирючился, прятал взгляд, и старуха продолжила:

– Надо, значит, Грунюшку везть. Простынею грудь замотала, повалила в телегу и повезла в участковую больницу. Наложили ей тридцать швов, а она хоть бы охнула. И говорит: «Если выживу, то долго еще поживу...» Ну повела я корову продавать. Думаю, один раз обошлось, а другой раз не миновать беды, попаду под суд. За тридцать верст повела в поселок, там на мясо возьмут. Воскресный день был. В деревню зашла одну, а там старушка навстречу. Спрашивает: «Куда корову ведешь?» Я говорю: продавать веду, такая бодучая коровка, спасу нет. Старуха и заторговала, да. Сама маленькая такая, с Левонтьича. Обошла корову трижды, сплюнула, погладила по лбу и говорит: «А ты, моя пестронюшка, с места не шевелись. Не дай, Господи, ни ножного ляганья, ни хвостового маханья, ни рогова боданья. Стой горой, а дои рекой озера сметаны, реки молока». Взяла мою корову за веревку и повела за собой. Та идет послушно, как собачка, и головы ко мне не повернула. У меня и глаза на лоб. Вот тебе и бодучая...

Голос у Анны вдруг осип и дрогнул, словно бы у старой перехватило горло. Зулус, досель упорно молчавший, оторвал взгляд от стола, сурово, безотзывисто уставился на хозяйку, словно бы намерился вовсе порвать истончившуюся нить горбачевского рода. Ведь как-никак, но Грунюшка была двоюродницей Анне, а этот вахлак Гаврош, забывший нынче дом и где-то заблудившийся на стороне, приходится ему троюродным братом. Я поймал этот диковатый взгляд и невольно встал на сторону соседки. А может, я придумал все, истомясь застольем, и Фёдор Зулус ни о чем подобном не помышлял, когда потянулся к бутылке, чтобы освежить стакашки. Чужая душа – потемки, и ой как легко заблудиться в ней. Я зачарованно смотрел, как наливает Зулус в посуду тонкой прозрачной струйкой, почти пресекающейся на излете, и ни одна капля не упала мимо. Твердая рука у мужика, корявая, темная, как у цыгана, с вьевшейся в поры угольной пылью.

– Верно, тета Анна, – тепло сказал Зулус. – Баба не человек, да и коза не скотина. Такая озорь, спать не даст, как мыша, в каждую щелку... хоть капканы ставь. А корова – это да... Это ходячая фабрика, продуктовая лавка о четырех ногах: тут тебе и мясо, и молоко, и сливки, и

простокваша, и масло, и колбаса, и ливер, и студень. Хоть так ешь, хоть на закуску тушенка... Чего я еще позабыл?

– И навоз... Первое дело – навоз, – зычно добавила Анна. – На наших песках куда без навоза? Ни картошечки, ни моркошечки. Ноги протянешь. Вот и думай теперь, как жить...

– Утрясется все, Анна Тихоновна. Бог не выдаст, свинья не съест. Не в царское время живем. Не слышать нынче, чтобы кто с голоду помер. Слава богу, не голодоваем, – утешила Марьюшка, но лишь подлила масла в огонь.

– И не услышишь, Стяпановна! Кабыть не знаешь, что русский мужик сначала шептуна пустит, а после оглянется, нет ли кого возле... Оглянулись, паразиты, когда дышать уже нечем, удавка на горле. И внутри будто глисты метровые заселились и вот сосут, а изгнать мочи нет... Вот теперь как просто. Заблудился человек – и нету его. Как можно в городе заблудиться, скажи мне. Не в леей ведь. Пятьдесят тысяч в год пропадает, так по телевизеру сказывали. А если когда и найдут, то мертвого, и уж не опознать. Спортился весь... Да пятьдесят тысяч вешаются. И все – молодежь, кому детей нянчить. Вот и мой шалапут совсем с вина ссучился, ходит, как обкладенный. Вот, милая, горей сколько. Одни горя. А ты говоришь, с голоду не умирают. Да с каждого угла стреляют, хоронить не успевают. Когда тут с голоду помереть?

– Значит, за грехи наши, – прошептала моя Марьюшка и осенила мелкой щепотью лицо. – Истолчем грехи в муку, тогда и помилует Матушка-заступница.

– Какие грехи, какие! – вскричала Анна, скорее, вострубила, да так, что на реке всполошился табунок уток, пролетел над деревней. – Да я о чужую кроху не запнулась. Все для фронта, все для колхоза ишачила, думала, вот на пенсию выйду – отдохну. А меня и на старости лет ограбили, в морду плюнули. Нет, все... Фёдор Иванович, миленький, у меня тесины на подволоке, сделай мне гробок. А крест я попрошу у Павлика. Павел Петрович, одолжи крест. Также зря на заулке валяется. Долго не сгниет...

– Да брось, тета Анна, – оборвал Зулус. – Так хорошо сидели... А Гаврошу бабу найдем, еще внучат понянчишь.

Но старуха уже не слышала утешных слов, все ее горя, все прожитые муки слились в один свинцовый ком и, подцепив за ноги, повлекли в бездонный омут, где в ярости свивались подводные змеистые струи.

– С меня мерку не сымай. Делай два метра на метр. Артём тошой, как выструганный, весь испитой. Его нельзя одного на земли оставлять. Пускай со мной идет в один ящик.

– Так он живой еще...

– А я его палкой уколочу. Один каюк... Днем раньше, днем позже...

– Такой ящик нам не унести. Мужиков не хватит.

– Трактором оттащите, да и в ямку...

Я недоуменно смотрел на Анну, не понимая толком, шутит, нет ли старуха, иль так прижало горящую, что и свет белый не мил. От погибшей коровы разговор скинулся в такие бездны, таким несчастьем опажнуло, такой неотвратимостью и бессмысленностью жизни, что и моя душа тут недоуменно вскрикнула: де, замолчите, что вы споткнулись о такую блажь, о коей и подумать-то страшно, не то молвить. Но въедливая на язычок Анна пряма, как штык трехлинейки, и пригруба, и всякие душевные тонкости вроде бы не царапают ее нутра, одевшегося в крокодилию кожу. Но тут Левонтьич, похожий на березовый завяленный окомелок, встрял в грустную словесную канитель. Он надвинул на взморщенный потный лоб бархатный кепи, величиной с сельский аэродром, и видя, что к выпитой бутылке уже не присоседится непочатая, сказал скрипучим деревянным голосом:

– Дура ты, Анка... Баба, что перина: если долго не бьешь, одна в ней труха да пыль. Погоди маненько, дак я тебя поучу, – и двинулся с огорода, успев ловко выдернуть гнездо лука и пару перезревших огурцов, похожих на маленькие дыньки. И вдруг дождь свалился с неба, крупный, как жемчуга, сверкающий, шумный, с пузырями, и по огородной тропинке

сразу поспешил пенистый ручей. Все забились в предбанник, очарованно смотрели в дверной проем на серебряный водопад, похожий на шелестящую штору. Потoki стекали с крыши мимо наших лиц, выбивая на порожке барабанные дробы. И случилось все при ясном небе, при солнышке, склонившемся на запад, из пушистого, почти прозрачного, похожего на овечью куделю облачка, в котором и с банный ковшик воды-то не наберется. Помнится, в июне грузные тучи бороздили над Жабками, почти задевая крыши, сколько молний полыхало по окоему, какие канонады раздавались с востока, – и ни капли не свалилось на голову.

Не так ли и наступает беда: чаще при спокойствии сердечном и семейном ладе, когда ниоткуда вроде бы не ждешь перetyки и козни. И вот свалится неожиданно, норовя поставить на колени...

В предбаннике, увешанном шабалами, уставленном древними ларями и тем изжитым скарбом, что и пользоваться уже нельзя, но и выкинуть жалко, было сумрачно, и в крохотное оконце, в одну щербатую шибку, похожую на внешнюю льдинку, едва пробивало светом. Я присел на старинный пружинный диван рядом с Татьяной, украдкой взглядывая на ее тонкий девичий профиль со вздернутым носом, вытарашенным круглым глазом, над которым трепетали жесткие, круто загнутые ресницы, на изгиб нежной, еще не закаржавевшей по-бабы шеи, на вихрастый завиток пепельных волос, и томился тем, что не могу притронуться к ней, прислониться без тайного умысла, и хоть бы крохотным прикосновением обрадовать себя и насытить на время тоскующее естество. Но и этого случайного соседства было достаточно, хотелось продлить его на вечные времена; и оттого, что мне было так истомно, становилось еще грустнее. Я знал, что сочиняю любовь, что напрасно распаляю себя, травлю сердце, наполняя мысли иссушающими мечтаниями, что позволяю себе лишнее, почасту взглядывая искоса на Татьяну, что хожу по той грани дозволенного, откуда так легко свалиться в пропасть греха. Мы вроде бы случайно прикасались плечами, мое бедро чувствовало ее тело, моя внутренняя дрожь передавалась Татьяне, и потому так напряжено было ее лицо, отчужденно вскинутое к щелястому, задымленному потолку. Моя смута, наверное, передалась женщине, она вдруг вскрикнула, пресекаясь взволнованным голосом: «Ой, дождь-то летний всему рост и радость дает!» и выскочила под серебристые струи и сразу как бы задымилась, окуталась паром с головы до пят и на миг пропала в водяной кисее. И тут дождь так же резко иссяк, источился...

Не глядя ни на кого, чувствуя непонятное смущение, прихрамывая на левую ногу, я поплелся склизкой тропинкой, чувствуя чужие взгляды на своей спине. Дома со всклокоченной сырой бородою уселся у окна, прижался к потному стеклу, глядя на кладбище, принакрытое маревом, на лоснящийся от дождя, будто намазанный салом, тракторок, пускающий дымки, и боялся пропустить ту минуту, когда подойдет Зулус с дочерью, уместится на черное пружинистое сиденье, едва втиснувшись в узкую кабину, и «поковыляет» на высоких ребристых «калошах» на свою усадьбу.

Но Зулус появился один, дважды обошел «колесник», задумчиво поторчал у распахнутой дверцы, оглянулся в мою сторону и, увидев меня в окне, прощально взмахнул рукою, и я, словно застигнутый врасплох, тоже покачал ладонью, как маршал на параде, хотя вовсе и не думал завлекать Зулуса к себе. На улице парило, и казалось, что земля, раскалившись в полдень, медленно остывает, окутываясь прощальным пахучим дымом. Все оживило в природе, залоснилось, стрижи, будто выпущенные из пращи, вскинулись над ветлами, куда поднялась, испросохнув, вездесущая проказливая муха. И всякая травка, возгоржаясь собою и пыщась, будь то закоревший пружинистый каравайник иль будылье конского шавеля, широколистные, усыпанные прилипчивыми «собаками» чертополохи, иль полки крапивного племени, – все задышало в полную грудь, насылая на деревню сладимого духа, отчего скоро умиротворяется доверчивая русская душа...

Но коли я посигналил Зулусу, значит, мне хотелось зазвать его к себе в дом? Это чувство было столь смутно и в цепи нынешних событий так неотчетливо, что я и сам себе не мог бы

дать объяснения. Наверное, я, как дознаватель, уже тайно включился в будний круг Зулуса и протоколировал каждый шаг, создавая иль домысливая логическую систему его жизни, в которой однажды случился сбой. Отчего именно за этим мужиком, в котором я пока не раскопал ничего странного иль особенно злодейского, из ряда вон выходящего, пошли в погоню горя? Может, покойная Грунюшка обозначила, сказав: «Феденька, допокой меня. Мне уже недолго осталось жить...» А может, виною какой-то пленный моджахед, взятый языком, которому разведчик Фёдор Горбачев сунул в штаны гранату и столкнул в реку со словами: «Иди с Богом...»

Ну это, дорогой Павел Петрович, ты уже присочиняешь в духе вездесущего ныне пацифизма, насылаемого на Русь бездомными телевизионными фарисеями, когда существо дела не касается их личного интереса. Не забыть, как они вопили в девяносто третьем, де: «Убей гадину!», т. е. убей всякого русского, что засел в Белом доме, чтобы защитить честь России. Но это же правда, – возразил я невидимому собеседнику... Уволенный по контузии капитан рассказывал, как они списывали со счетов коварных афганских лазутчиков, попавших в плен к разведчикам. До ближайшей гарнизонной тюрьмы километров сто, харчей и самим мало, за каждым камнем засада, а пленный все время норовит сбежать, и самое верное, говорит, в подобных обстоятельствах, когда моджахед запирается иль молит смерти во имя Аллаха, – пустить его в расход. А как?.. Это дело исполнителя и его натуры.

Любая война – это жестокая, часто бессмысленная игра, задуманная торгашами и штабистами, не нюхавшими пороха, и слабая человеческая душа, угодившая как бы на распятие, в эту проказу, гниение жизни, в постоянную грязь и грубую простоту отношений, невольно дичая, окоростевая, чтобы вовсе не пропасть, не только принимает узаконенные стайные правила игры, но и хочет освежить, разбавить ее личным интересом, своими повадками, мстостью. В игре со смертью, когда она постоянно торчит в изголовье или гибельно дышит в ногах, присматривая за каждым движением, эти мужские забавы как бы вступают в спор со старухой с косою, устраивают ей поединок. Вот ты мне, де, такую козу устроила, а я надмеюся и сделаю такой выверт, что ты от неожиданности скужишься, слиняешь с лица и отступишь прочь.

Игра со смертью – обязательное условие во всякой необузданной войне, где во время боя отсутствуют даже крохотные нотки пацифизма. Там принцип: кто кого? Смерть не похоронишь навсегда, но ее можно обмануть, и на время она отстанет. Человек не из робкого десятка, что сам себе на уме, сознающий непобедимость смерти, все время невольно, не признаваясь себе в том, выстраивает всякие охранительные уловки, подкопы, дуэли, обходные маневры, капканы и те ловушки, чтобы смерть на время застряла, отступилась от солдатики, позволила ему встречу с родными, с невестой, с благоверной, позволила наковать детишек, после состариться и угаснуть в своем доме под любовным доглядом родичей. Ведь пощади в бою врага, и он тебе выстрелит в спину, и все мечтания оборвутся навсегда.

Это, конечно, один оттенок войны из тысячи, ибо каждый характер не только приспосабливается к войне, но и устраивает ее под себя такого, какой он есть. Иному война, как тюрьма: век бы не ушел...

Казачи Степана Разина, истинно православные люди, отрезали у несчастных пленных кутают, высушивали их и носили для похвальбы на поясе, как погремушки. Американцы снимали скальпы с индейских голов, горцы отчекривали уши иль носы, турки отрезали головы. Мало убить, лишиться жизни, но надо исполнить какой-то странный ритуал, мистический обряд, что не потухая живет в верующей душе христианина иль мусульманина. И вместе с тем, возвращаясь в лоно семьи, те же самые люди удивительно добры к жене и любят детей своих, покладисты и мягки к близким, словно бы сам быт вдруг перелицовывает их не внешне, но внутренне, меняет сердце и душу и саму кровь, полностью изгоняя загаженную войною требущину.

Мирскому человеку, что не сиживал в окопах, не бывал в лазутчиках во вражеской стороне, не играл со смертью, конечно, не понять той жестокости, что царюет в те минуты, когда

ты в пылу боя как бы паришь, разлученный со своей душою, уже навсегда распрощавшись с нею, превратившись в некую плотскую неколебимую машину... Но и не все же отрезают уши и снимают скальпы, вспарывают животы, насыпая туда зерна, но есть тот особый сорт людей, не уничтожаемый в веках, который одевает войну в алое кровавое платье и принимает ее за распутную женщину, с которой все возможно... Для них все прочие – это нелюди, а нелюдь можно усмирить лишь отъявленной жестокостью, в коей, безусловно, кроются и мотивы мести лишь за то, что приходится жить по-собачьи, а эти грязные псы не покоряются, выказывают свой норов, будто они тоже люди, и надо так их наказать, так по-особенному проучить, чтоб страх ушел в самый корень их потомков до седьмого колена. При этом подобное чувство возникает с обеих противоборствующих сторон, и тем сильнее оно, чем дольше длится безжалостная война, ибо жалость даже на самой грубой и противоестественной войне сохраняет православную душу, не дает ей онеметь...

Я, конечно, сторонний наблюдатель, сугубый схоластик, и мои субъективные опыты изымаются лишь из собственных мистических ощущений и ничем не повязаны с натуральной правдой войны, которая куда грубее, и не могут никому пригодиться для отыскания истины. И потому я не могу никого похулить иль занизить и тем возвысить себя лишь за то, что не оказался волею судьбы на войне. А ведь еще неизвестно, как бы я проявил себя там, на войне, и не пришлось ли бы праздновать труса под первой же пулей. О прочем же, упаси Бог, даже страшно подумать, лишь стоит вспомнить алые, как бы налитые кровью, лоснящиеся губы Басаева в смоляной косматой бороде и неистовый, надменный взгляд горного волка, привыкшего резать отару не столько для того, чтобы набить брюшину, а потому, что так невыносимо видеть живых неволков...

* * *

Всякая жизнь есть логическая система от рождения и до смерти, а значит, смерть не есть сбой. В великой родильнице, как в огромной кладовой, любая жизнь ждет указующего знака (пора, де, ступай в мир), храня в себе историческое время, и после, по тому же велению, возвращается она обратно в плодящее лоно...

Я потерял мысль, споткнувшись взглядом на Зулусе... Он шел по скользкой наводяневшей тропинке, как рак с клешнями, так тяжело было нести ему руки, обвисшие перед коленями, как железные суставчатые рычаги. Они словно бы раскачивали все мосластое длинное тулово, и Зулус походил на зыбкие весы, качающиеся под грузом, который только что поместили на чашки. Господи, до чего же сложные словесные канители вывариваются у меня в голове, замысловатые, фигуристые, похожие на неряшливую пряжу со множеством узелков и спотычин. Я вдруг подумал, что все прошлое Зулуса это – сплошная цепь сбоев, в которую он был заключен как невольник, прикованный к арестантской штанге. Прежде они так волоклись по Владимирскому тракту, звеня цепями и видя лишь сугорбую спину сотоварища, а руки, оттянутые кандалами, висли так же безвольно вдоль тела.

Зулус шел ко мне, и, значит, мой сон задел его. Я слишком большое значение придавал слову, полагая его за ось мирового коловращения. Я имел в виду не только евангельское Слово, но и то повседневное, часто заскорузлое и самое затрапезное, с которым протекает наше столь призрачное время. И в нем самым материальным, самым долговеким оказалось именно слово, которому мы так мало придаем значения и с таким легкомыслием и пренебрежением относимся, почитая его за пустой звук. И даже придумали оправдание своему упрощенному короткому уму: де, «слово серебро, а молчание – золото». И не ведаем того, что даже во все-ленском, космическом молчании, в этой ледяющей пустоте, сверкая, как алмаз, живет Слово, и мириады планет, будто скопище мошки под уличным фонарем, крутятся вокруг него...

Зулус постучался в косяк, отогнул серую шерстяную завеску в проеме двери и застрял у порога, раздумывая, входить, нет. Потом поманил к себе: де, выйди, разговор есть.

– Заходите, Фёдор Иванович, не стесняйтесь. Я самовар поставлю, чаю попьем. – Я неожиданно обрадовался гостю, что со мной бывало крайне редко. – Вы, наверное, давно не пивали из самовара? А из него чай совсем другой. Живой...

– Почему не пивал-то, пивал, – буркнул Зулус, вошел в кухню, смущенно посмотрел на заляпанные грязью сапоги, вернулся в сени, закричал, стаскивая резиновую обувь.

– Да не снимайте! – запоздало крикнул я.

Зулус не ответил, мягко, по-кошачьи, ступая, вернулся в дом: на ногах были длинные, до колен, шерстяные головки, штаны камуфляжные пузырями, но чистые, без единого пятнышка от солянки или масла. И рубаха в крупную клетку тоже отглаженная, не обтерханная в общагах, с большими накладными карманами на груди. Обочья сизые, покрытые свинцовой пылью, и веки будто обведены тушью, пронзительные с искрою глаза, подбритая скобка жестких усов – серебро с чернью, плотно прижатые уши. Для чего я так взыскательно изучал человека, словно бы отыскивал в его лице и на теле тот изъян, ту каверну или язву, через которую можно просочиться в еще живой организм и сокрушить его, потихоньку выпивая. Сон – сном, мало ли какая дичь привидится человеку, но не в самом же деле я решил погубить Зулуса, закончить его логическую систему сбоев? Я был болен своей идеей, мой ядовитый мозг изживал меня, и еще неизвестно было, кого раньше приберет к себе мать-сыра земля. А если бы догадался Зулус, то посмотрел бы на меня, как на умалишенного, и посмеявшись над хворью московского гостя, наверное бы, пожалел его как несчастного, едва скребущегося по обочине новой жизни. Я был почти сброшен с телеги, а он наплевал на господский тарантас и стал мастерить свой, пока на деревянном ходу и без рессор... Зулус присел к столу, положил руки перед собою: пальцы толстые, короткие, словно бы обгрызанные, в шрамах и заусенцах, и кожа на тыльной горбушке, будто обгорелая, шершавая, с темными ручьями вен.

– Ну у вас и руки... Как землеройные ковши, – сказал я. Зулус не смутился, внимательно осмотрел ладони, словно увидел их впервые.

– А покопытьте с мое. Двадцать лет в шахте горбатил. Хоть бы смену покидайте уголек совковой лопатой, потаскайте сырые баланы, поставьте стойки те же, где ползком, где на коленях. Тыщи тонн угля выдал на-гора... Это вам полдела: пальчиком постукиваете по машинке, и вся работа. Устраиваются же люди, а? Без нас, негров, давно бы позамерзли все, как тараканы...

– Простите, я не хотел вас обидеть, Фёдор Иванович. К слову пришлось.

– И я без обиды. Три раза засыпало породой, Бог дал жизни. В завале-то посиди хотя бы сутки, молиться и научишься. Так что я смерти не боюсь. Все завидуют, что у меня жизнь была рай – полон карман денег.

– Да кто вам завидует?

– А хоть и вас взять. Из зависти же меня убили?

Порошины зрачков буровили меня, как победитовый припой на сверлышке, седая жесткая челка волос, хищный орлиный нос лишь подчеркивали воинственное выражение. Мне подумалось, что Зулус чем-то напоминает киношного Гришку Мелехова внутренним горячим напором, который и передается через глаза, через короткие, как бы рубленые, фразы с недоговоренным смыслом. Мне казалось, что Зулус видит во мне врага, и вот пришел, чтобы поквитаться. Он явился вдруг из нетей, из того мира, откуда нет возврата, переплыл реку смерти обратно, перехватив лодку у перевозчика, чтобы забрать меня с собою. Чтобы скрыть смещение, я занялся самоваром: наливал из ушата воду, щепал лучину, собравши в пучок, поджигал и совал не спеша в черный зев, наблюдая, как огонь струится вверх, потом на горло самовара надвинул прогорелое жестяное колено трубы.

– Вы думаете, я мужик, вахлак?

– Да ничего я не думаю, Фёдор Иванович. Вы заостряете то, что надо затупить. Вы мне интересны – и все... – Я говорил извинительным, противным себе голосом, на мягких тонах и похож был, наверное, на проказливого кота. Какая-то непонятная сила меня поворачивала к гостю спиною, и я эту силу не мог понять, взять в толк: откуда она явилась и чем вызвана.

– Нет, вы думаете так... А я ведь школу закончил с золотой медалью, потом и офицерское училище – с золотом. И мечтал быть маршалом. Так что, в известном смысле, не хуже вас.

– И что же?..

– Да хоть и был во всем гожий, да меня – по роже. Хрясь-хрясь, и пинком под зад. Конечно, я и сам дурак набитый. Конечно дурак. Да ведь не повернешь вспять. Как я мечтал в детстве о погонах, особенно о фуражке. Спал и бредил... И все – в навоз... И страна – в навоз... Пять раз погибал: два раза в Афгане и три в шахте. И не было тоски. А сейчас кранты. Народ – в навоз, страна – в навоз. Эти две золотые мои медали я бы на глаза Ельцину положил вместо пятаков, только бы увидеть его в гробу.

– А в один бы ящик лег? Ну, как Анна со своим Гаврошем, – спросил я, чтобы узнать глубину его ненависти.

– Хрен с ним... И лег бы, – как бы принимая мои слова всерьез, горячо воскликнул Зулус. – И противно бы, но лег. Горбач Федька и Ельцин. И пятнистого туда же. Все влезем. И бетоном бы сверху. И закатать катком, чтобы не проросло.

– И не страшно?..

– Да это тары-бары-растабары, – пошел Зулус на попятную. – Мало ли чего на языке? В Афгане два раза умирал, да в шахте три раза. А я все живой и здоровый, и быку рога обломаю. И хрен кто меня закопает, кишка тонка... Да я и не держусь за жизнь-то, дорогой Павел Петрович. Но я не нажился еще и не хочу котомку собирать. Почему мозглетье всякое, полудурки, полуумки и недоумки одной ногой во гробе стоят, годами ноют и ноют, спасу от них нет, а здоровое поколение спешит в землю, словно бы там пряники и конфеты. А может, и не хотят они в ямку, ибо знают, что нет там пряников и конфет, да их мозглетье всякое, что нынче правит нами, спихивает под зад ногою, чтобы все вокруг изжидить. И всякий бойкий человек для них первейший враг, всякий ум для них вперетьку. И сейчас вокруг идет борьба: кто кого одолеет. Или они нас, и тогда повсюду разольется гниль и слякоть, или мы их, и тогда расцветут сады. Добрый человек – это распутившийся цветок, и можно из него иль взять нектару, иль впрыснуть туда яду. Иль не так? Значит, жестко надо стоять в обороне, и всякую мозглеть, как сорняки, долой с грядки, с поля вон.

Я ничего не ответил, занятый будто бы по хозяйству, но про себя подумал как психолог, что в госте проснулись задремавшие или погрязшие в тине философские задатки, коими человек обычно пренебрегает или оставляет на потом, чтобы не отвлекаться от ровного прозябания и добывания хлеба насущного. Что и говорить: всякая умственность не только ставит препоны в ровной жизни, но и заставляет порою вовсе опустить руки, ибо не нами сказано: от многих знаний – многие печали.

Зулус, наверное, и сам удивился, что вдруг так ударился в разговоры. Иль хмель взбудоражил, иль захотелось выказать себя перед профессором: де, и мы не последняя спица в колеснице, не крайняя ягода в бору.

– Мне бы дочку только оприютить. Ноготком-то она за Москву зацепилась, а хотелось бы, чтобы цвела там, как розан в палисаде, не засыхая. Ты ведь Татьянку мою видел, Павел Петрович. Ее бы на руках носить. Да кругом одни вахлаки: им бы только девочку поставить в позицию... Да и сам я по молодости таким же был. А тут дочка – бутон. Боюсь, завянет, не расцветши. Знаешь, как в песне-то: «Когда цвет розы расцветает, то всяк старается сорвать...»

Я подкинул из морельницы угольев, подкачал жару мохнатым валенком, насунув его на горло самовара: тот скоро зафурыкал, гундосо затянул со всхлипами и переливами тонявую музыку и вот пустил витые колечки пара из ноздрей.

Где-то моя Марьюшка запропастилась, она-то бы скоро наладила на стол, принялась бы потчевать дорогого гостюшка и не столько разносолами, коих на веку не бывало в нашем деревенском житье, но тем сердечным участием, той душевной теплотой, кои куда слажен сытнее сдобного печива, когда под голубоватый осколок от сахарной глыбы со смуглой, зажарной баранкой, коя, разбухнув, едва влезет в посудинку, выдуешь, не заметив, чашек пять-шесть чаю. Будут, конечно, какие-то примолвки и присказки, но Марьюшка, ведя стол, вовремя заметит, что чашка у гостя опустела, и, ополоснув ее под краником каждый раз, нальет свежачка, де, вода дырочку найдет, и тут же обязательно поелозит по клеенке полотенишком, чтобы чисто было и приглядисто и не хозяйевали крошки, отбирая у старенькой уют...

– Я чай пить не буду, – вдруг упредил Зулус.

– А что так?

– Вино чаем не разбавляют...

– А покрепче ничего нет. Ты же знаешь, я не пью.

– И я не пью. Да вот на язык попало, – досадливо сказал Зулус. Скособочившись на стуле, он с придиркою оглядел меня всего: тонявого, сутуловатого, кособокого с рожей, обметанной шерстью. И чем-то я очень Зулусу не понравился, и он вдруг предложил:

– Давай в перетяжки на руках сыграем. Кто кого оборет, тот и за водкой побежит. У Култышки всегда ящик под кроватью...

– Как это?

– А вот так. – Зулус водрузил локоть на столешню, покачал скрюченной ладонью, снова напомнившей мне совковую лопату.

– Мы разных весовых категорий, Фёдор Иванович. Меня перед тобою и не видно.

– Шептуна тоже не видно, а как пустят, далеко слышать. Ну дак что, поборемся на тяжах? Я тебе скидку дам на полкурса. – Зулус присклонил к столетне кисть руки, как бы давая мне аванса и тем заманивая к борьбе. – Такой кивсяк, а меня убил. Как это сподобился, чудо? Правда, нынче все возможно. Дрянью-люди коньяки попивают да на Канарах пузо греют, а нормальные – чужие тарелки облизывают, потому что блудить и гадить не хотят.

– Да не убивал я тебя, Фёдор, – загорячился я, как бы уличенный в дурном и прижатый к стенке. – Это во сне приснилось. А мало ли что в сон придет. Ты запнулся и виском...

– А ты не переживай. Убитого чего жалеть. Убитые уже не люди. Это трупье, падаль. Это как дрова. Сгорят, а пепел на удобрение. Сколько уже сгорело. Миллиарды. Топка не стоит, топка просит дров. И что, всех жалеть, по всем убиваться? Никакого здоровья не хватит. О живых надо переживать.

– Мертвых тоже надо любить. Их, может быть, любят куда больше, чем живых, потому что все ссоры, вся нескладица куда-то девается, остается лишь серебро да золото прошлых чувств, которые не сгорают в топке, не тускнеют, но пробиваются сквозь время. Ради пережитых чувств и любят мертвых. Иначе зачем жить? Потому мертвых порою любят куда крепче, чем живых. Вы что, никогда и никого не любили, Фёдор Иванович? И никого не жалели? У вас что, не было такой женщины в молодости, по которой вы все еще плачете во снах?

– Умеете вы красиво говорить. Вы хлеб-то языком зарабатываете. – Тень набежала на лицо Зулуса, видно, тягучий разговор ему поднадоел, а нужного, с чем он заявился ко мне, так и не высказал. Я чувствовал, что Зулус пришел по делу, а не за рюмкой, такой породы люди напрасно по чужим избам не шляются, порогов не обивают и даровую стопку не просят. Слишком круто и безо всякой нужды катаются за скулами желваки, словно Зулус перетирает зубами проволоку.

– Что любовь... Любовь – сон, – добавил Зулус через силу. – Может, любви и вообще нет на свете. Есть скотство и похоть и инстинкт размножения. Нынче миллионы девок на панелях. Вот и вся любовь. Одно скотство и свинство. Телевизор включишь – одно скотство и свинство. Все цвета радуги, но нет мужиков настоящих и баб. Нелюди и скоты, а ты – любовь!.. Есть зов

крови, согласен. А остальное – блажь. Вот дочь я жалею. Зов крови!.. Это крепче любви. Это как бы часть меня отрезали и оживили. Бог или кто, не знаю.

Я покачивался, как маятник, придерживаясь за спинку стула, и этим, наверное, раздражал Зулуса, выводил из себя. Его гордость давила, надо было пересилить, переступить через гонор ради дела, и он не мог совладать со строптивым сердцем.

– Ну так как чай? – спросил я. – Чай не вино, много не выпьешь.

Зулус порывисто поднялся из-за стола, но прошел к порогу вкрадчиво, мягко, словно лесная куничка, скрадывающая живность. У двери остановился.

– Знаешь, Павел Петрович, удочки с мужем не все вась-вась. Свекор, свекровь права качают, девке мозги компостируют, шагу не ступи. А она – девка самостоятельная... Им бы жилье сыскать. Снимать, так дорого, без штанов останешься. Муж – геолог, голь перекатная. Шляется по стране, шерстит баб, жен меняет. Где-то на стороне уже сын растет. А Танька, дура, любит его. Им бы съехать от родителей, там, глядишь, и наладится.

– А я что могу, Фёдор Иванович? Сам живу с матерью, как клопы за обоями. Грубо, но правда. По метру на человека, а остальное – книги.

– В Москве много одиноких, кому помирать пора.

– Ну и что? – не понял я сразу.

– В богадельню не хотят, родственников нет, кто бы хоть воды стакан подал. Кто его допокоит, тому и квартира по уговору..

– Не знаю, не слыхал, – сухо отказался я от продолжения разговора. Мне вдруг показалось, что меня втягивают в дурную историю.

– А я слыхал. Тайная очередь, по списку. Взятку на лапу – и шито-крыто.

– Не слыхал, не знаю...

– Прости, что время отнял.

Всколыхнулась тяжелая занавеска на проеме двери, и Зулус исчез.

12

Живое время стремительно сокращалось на моих глазах, а я напрасно проживал его, и даже торопил, выталкивал от порога, словно бы чуждаясь его присутствия. Последние песчинки ссыпались из часов, и двадцатый век, до того казавшийся бесконечным, приказал долго жить. И что мы имеем в остатке? – да лишь логическую систему сбоев... Видно что-то нарушилось Божеское, заветное, и мир пошел враскоряку, причудливо изъеденный червием. Когда-то и Зулус был пареньком природным, прилежным, а нынче похож на броневую машину, лишившуюся одного трака; елозит, вспарывая дернину, взрывая и пуская выхлопной чад, но не выбраться ему из болотного тягуна на горку, откуда открываются цветущие долины. И сила вроде бы есть, но куда ее деть? Теперь нет для Зулуса любви, но только зов крови, а мертвый человек для него – падаль и бревно, по которому жалость излишня. Может, он один такой оглашенный, причудой жизни выпавший из человеческого порядка и сейчас страдающий за всех, перенимающий на себя все вины человечества?

Да нет же, вся Россия от края и до края нынче, увы, живет по логической системе сбоев, ибо нарушился центральный нерв, хребтина искривилась, а народ не может жить без ключки подпиральной, без той самой совести, которая позволяет идти с поднятой головой, не хромая. Когда совесть выпала из оборота, оказалась излишней, скоро звено за звеном выковалась антибожеская логическая система сбоев, и народ, прикованный к ней насильно, стал исполнять дьявольский интерес. Из вольного, разлитого по просторам северной страны, он превратился в овечьи гурты, затерянные в таежных распадках и поречных долинах, и всякий обнахаленный человеченко, сумевший скоро распрощаться с совестью, подхватил кнут и стал пасти осиротевшие некормные стада. Еще живой, не пущенный под нож, он стал падалью, а значит, лишился прикровенной жалости, в которой нуждается даже самая ничтожная бессловесная скотинка. Где есть совесть, там живет жалость и хранится любовь. Главное в новом порядке – подхватить кнут и встроиться в логическую систему сбоев, что воцарилась на земле: «я начальник – ты дурак», «богатый обидел бедного, да сам же и судом грозит». Деньги стали мерою всех вещей, и воцарил дьявольский интерес. Из этого же интереса настроились церкви: сразу же, как изпод земли грибы, выросли в каждом куту, напоминая смиренному, что ты раб. Неуж и церкви выставились по Руси в помощь богатому, чтобы сохранить тому деньги? Господь бичом изгонял скаредных ростовщиков из храма, нынче же они первые у алтаря со свечкою, с потупленным взором, и сквозь сморщенную кожу на гуменце, едва припорошенном курчавым волосьем, проткнулись молочные рожки, уже никого не смущающие. А сзади приторкнулся охранник с бычьей потылицей и студеным скучающим взором, своей необъятной спиной прикрывающий менялу от юрода во славу Божию, которому вдруг да и откроются какие-то смущающие небесные зовы. А у паперти поджидают милицейские мигалки и многослойные системы защиты, которые не проймет ни одна стенобитная машина, столь ухищрены они, подозрительны и опасливы, поджидая во всякую минуту каверзы и подвоха от завистливых и вовсе несчастных, кому обрыдла затхлая жизнь, кои ищут повода и места, чтобы истратить ее с последним предсмертным восторгом. Да кругом наушники и доносчики, за каждым приставлено невидимое око, и тайный соглядатай, не ведая сна, дышит за плечом каждого любомудра, который знает лекарство от хвори, именуемое совестью, и не только чует издалека, но и носит в себе как вековечный неистребимый горб.

Наворовали ведь, ушлые, набили оскомину, наелись черняшки с маслом и медом, а беленьким прикрыли наверхосытку. Система сбоев заработала, и приноровленные к ней отныне посчитали ее единственно верной. Теперь настал второй черед: как охранить награбленное. И вот тужатся, и вот сочиняют законы, от куска жирного украденного пирога отчинивая крохи человеку при погонах и при чиновном месте, ибо замаранный, на ком кровца, на ком

неправедная деньга, невольно пристаёт к волчьей стае и уже верно служит в облавах на мирно пасущиеся истомленные овечьи стада и режет, и режет овн, не сокрушаясь уснувшей душою. И когда жизнь эта обжорная для них покажется вечной, освященной церковью и властью и самим небом, вот тут и грянет в цепи сбоев третий неминуемый срыв: снова униженные и оскорбленные начнут отнимать неправедно нажитое и проливать кровь, чтобы ею опечатать всех посвященных, снова примутся мстить за собачью жизнь, выбрав себе главаря. И так из века в век идет круговорот жизни, истиха подменяются Божьи замыслы дьявольскими умыслами.

Зулус ищет места, куда бы сметнуться по своему норову, чтобы не попасть в тощее стадо под пастуший кнут. Время мести еще не настало, и он тешит в себе неутоленную мечту по воле. К кому пристанет Зулус, какие страсти закружат его и возьмут в полон, кто подберет мятежную натуру? – никто не подскажет...

Тягучие мысли – как отравы, как опойное вино, настоящее на поганных грибах, от них выгорает в груди все живое, и приступает на сердце такая тоска, что хочется по-собачьи выть, запрокинув морду в небо. Так собаки вопят, когда потеряют хозяина, ведь нет больше на всем белом свете им защиты. Что может быть горше бездомного пса?.. Многие на Руси на себе испытали это сокрушающее чувство.

Я переводил взгляд по избе и не узнавал ее, словно бы в глухую клеть заключили меня на прозябание, а ключи выкинули в крапиву, обметавшую бетонный крест возле погребницы. Господи, какая бестолковщина вокруг, как заплутали горестные люди, как глубоко заклубились в своих раздумьях; и чем больше сомнений, тем непонятнее жизнь и мрачнее будущее. Вроде бы на всю страну навесили запретный кирпич: дальше – тупик, дороги нет.

Окна освинцовели, потухли, кладбище стерлось за стеклом, угрюмые ели надвинулись к самой избе, готовясь ее поглотить, даже слышна эта медленная неотвратимая поступь, будто отряды кирасир, покрытых панцирями, идут погребать никем не отпетую, едва дышащую Русь, и ничто нельзя противопоставить этому. А может, и благо для всех, что природа истирает, засыпает своим прахом все случайное, несущественное, что однажды появилось на земле и мерзко так тлеет, никак не потухая, и своим смрадом, своим злобным присутствием мешает молодой здоровой поросли. Ведь покойника на земле не оставляют и с погоста не ворачивают. Всеу свой удел, свой срок, и ты, Павел Петрович Хромушин, был случайно вкраплен в логическую систему мира, коя была однажды поколеблена появлением человека, и вот все ошибки наконец-то устранены. И, значит, тщетны все мои усилия, значит, зря я корпел, погружаясь сознанием в глубины бытия, чтобы определить периодическую систему его развития и упорядочить хаос. И если прав Екклесиаст, то зачем вострить свой ум, зачем взращивать душу, подчиняя ее библейским заповедям, ибо и чувства, и совесть, наши мечтания и стенания – один лишь прах, и нет им места во вселенной. Ведь клопы и тараканы куда древнее нас, и заботясь лишь о хлебе насущном, не предаваясь терзаниям, они всей плотью своею устремлены в бесконечное будущее. Значит, они в центре природной системы, которую я выстраиваю, а все прочее – лишь доедь... Не станет человека, и эти твари станут сосать живую кровь деревьев, иссякнут леса и травы, и эта мерзейшая гнусь будет пожирать камни, превращая горы в клейкую труху.

...Вдруг вспыхнул на кухне свет, я вздрогнул и похолодел. Станный соглядатай, прильнувший лицом к окну с уличной стороны, испуганно отступил от окна и пропал.

– Сумерничаешь, сынок? – певуче спросила Марьюшка. Только сейчас, придя в себя, понял я, как глубоко заблудился среди гибельных чарусов и готов был вовсе захлебнуться и утонуть. Наверное, в такие минуты отчаявшиеся люди кончают самоубийством. – У Анны засиделась. Сын-то опять вернулся пьяней вина. Вот какой непуть, – Марьюшка ступала по избе бесплотно, как Святой Дух, и казалось, что даже воздух не колыбался вокруг ее иссохшего тела: вздеть под лопатки перьевые крыла, отнятые у лебедухи, и воспарит старенькая, честное слово, взлетит. – Анна плачет, коровку свою порато жалеет. Скотинка ведь – родная душа. Немилостив, говорит, Бог, от... Дак она сейчас с горя оглупала, ничё в ум доброго нейдет. А

тут еще Гаврош-непуть не может вина напиться досыта. Хоть ты-то у меня не пропоен. Что бы с тобою делала?

– Плоха мать, что сына до смерти не прокормит, – как-то зло посмеялся я над матерью. Марьюшка испуганно вздернула плечиком, встопорщилась, взглянула на меня, как на больного.

– Злой ты сегодня, Паша...

– Спиться бы, и одна дорога, – сказал я настуженным голосом. Холод жил в груди, не оттаивало там, и получалось невольно, что в моей тоске и печали виновата только Марьюшка. – Другой раз так хочется спиться. Ведь все на перетыку идет, вся жизнь в распыл, а пьяному – сплошной праздник. Пробудился, хряп рюмашечку, принял на грудь вторую – и раскатись моя телега.

– И тебе матери не жалко? Такое говоришь. Как язык только повернется. Ты ведь не простой мужик, на тебя народ смотрит.

– И худо, что не мужик. Проще бы жить. А то кручусь, как вертушка на кону. Куда перевесит, кто перетянет... Вот был Зулус, только что ушел. Сказал, что любви нет, а есть скотство и инстинкт. – Зачем я пожаловался матери, не знаю. Признание само сорвалось с губ. И вдруг подумал: «Мы настолько с матерью похожи, что даже слова слепливаем одинаково: сикось-накось». – И неужели даже меж родными любви нет? А есть волчья стая и вожак с клыками.

Марьюшка щипала лучину и не знаю, слышала, нет, меня, ее полусогнутая узкая спина с горбиком за плечами походила на кочедык для плетения лаптей. Сухие ножонки рогатиной, рыжие, в веснушках и пролысинах, шерстяные головки сползли на стоптанные шлепанцы; в чем старенькая на грядах, в том и по избе шастает. Огонь зашумел в дырках самоварной трубы, и только тут Марьюшка отвлеклась от заделья, повернулась ко мне:

– Если бы любили, то не воевали бы. И Бога не любят. Почитали бы – дак кланялись. Живут, как обои на стене. Пристали на клей – и ладно. Сколько-то держатся, пока не надоедят. – Марьюшка словно бы столковалась с Зулусом иль читала мысли на расстоянии, иль втайне стояла в сенях и слушала наш спор. Она вдруг показалась мне сухой и рассудочной, будто давно усыпила сердце, чтобы спокойнее стало жить. – А какая любовь между родными? Одна кровь – и все, больше ничего нету. О чем разговоры, сынок. У нас кровь-то не своя, вся налитая. Она молчит, ей легче молчать, вот. Я и не веду о любви разговоров, знаю, что трудно говорить. Я мать, и все горе твое разделяю, переживаю за каждого по родне. И жить по крови – значит, прощать все. А зачем любовь? Любовь одна бывает, к суженому...

– А к Богу?

– К Богу – страх и жалость, что такое за нас претерпел, не убоюсь. Вы-то, молодые, всего боитесь. Вас прижали к ногтю, а вы и не пикнете. Вам бы только девок в постели шерстить. Ты-то хоть любил кого, кроме себя? – въедливо заметила Марьюшка.

– Тебя люблю, тебя одну...

– А... Любил бы, дак давно женился, себя бы не старил и детей бы не малил. Сидел бы, как орел в своем гнезде, да только бы поглядывал да поуркивал. И водички бы кто матери подал с поклоном, де, на, Марья Степановна, обмокни язык, размочи сухарик...

– Вот и не женюсь, потому что тебя люблю. Вдруг придет в дом змея-Скарабеевна...

– Дак пошто опять змея-то. Получше какую приведи. Ват, Москва-то не без девок, за мужиками-то в очередь стоят. Так замуж-то, бедные, хотят, будто повидлой у мужика-то намазано.

– То, Марьюшка, девки-пустоголовки. У них в голове ветер, а кое-где дым... И вот придет невестка-стерва, будет тебя поедом есть да измором морить, корки хлебной не даст. Тогда попляшешь, как на угольях. И мои слова не раз вспомнешь. Ой, скажешь, и пошто я сына ученого не послушалась... Знай, Марья Степановна, что молодой крокодил всегда старого проглотит. Только и живала...

– Сули, сули матери худа. Чтобы доброго насулил, чтобы во спокойе глазыньки закрыть. – Марьюшка вдруг замгилась лицом, значит, разобиделась, не разобрав шутки и легкого необязательного словца, и вот приняла мои побрехоньки за сущую правду.

Собственно, от истины мои посулы недалеко ночевали. Сколько раз прилаживался к женщинам всем отходчивым доброрадным сердцем, так хотелось прильнуть к милой навсегда, чтобы не рушить больше гнезда и не крыть заново крыши, да всякий раз – не судьба, вдруг напускался на семью такой поганый ветер с севера, что скоро выдувал все душевное тепло, словно в груди и не ночевывало приязни и согласия.

– Опять пластинку заело? – грубо сказал я. – Смени иголку-то...

Марьюшка беспонятливо зарипкала прислеповатыми глазыньками, словно бы их припошило ветром, и стала жалконькой, как пересохшая былка. Язык-то я прикусил, конечно, но было уже поздно: уйдя в себя, старая ляжет на постелю за ситцевым пологом и, отрешенно уставясь в потолок, будет долго жевать в одиночестве непонятные обиды и перетрашивать черные мысли...

«Одинакий сын, всю жизнь горемычную тряслась за него, и вот вытетешкала перестарка, нынче еще более чужого и непонятного, закорелого и замоховевшего, ни с какого боку не подступись...» – так размышлял я, словно бы переселившись в измозглую материну плоть. Это кровь родовой во мне говорила, и наши похожие чувства были растворены в ней, так что и признательные слова были излишни. И я мысленно повинился перед Марьюшкой: «Права ты, матушка, права. Чертополох и тот растрясает по мерзлой земле семя, надеясь, что хоть одно да проклюнется». И у самой-то все перевернулось в голове, никаких добрых воспоминаний, остались одни ополоски от пережитого, как и на свет не рожалась, вот и про любовь забылось, только давние отсветы чего-то прекрасного в окрайках памяти, как ночные августовские сполохи, просверки по всему окоему, но ни громишки, ни дожжишки. Вот и заявила нынче Марьюшка, де, любви на свете нет... Но как без любви-то жить? Это же свет белый померкнет средь ясна дня, как при конце света. Значит, и меня мать не любила, и вырос я безлюбый, и эта безлюбовь отпечаталась на душе, как тавро на крупе коня. Я не вижу этой проклятой печати, но она растворилась, разлилась в крови.

...И, эх, шалопут, вот поживешь с материно, тогда поймешь, куда вдруг пропадает любовь и что значит она при земной жизни; скоро и сам экий же станешь, как сухостоина в бору, одна болонь корявая, испроточенная червием до самого сердца... и куда любовь твоя тогда поместится? Где ей найти общежитие?

– Ты куда подался без чаю-то? – жалобно спросила Марьюшка, видя, как пропадает за порогом ее кровинка. Но только колыхнулся в ответ тяжелый запон.

– Сама пей, – буркнул я себе под нос.

День прошел, и слава богу, теперь надо долгий одинокий вечер убить.

Как так получилось, что я дорогие, невозвратные часы выпроваживаю за порог, как въедливую сводню или непростимого врага? Какая, братцы, к лешему наука, когда сердце не на месте, когда маята одолела, будто последние сроки приступили, и всякое предприятие, какое бы ты ни измыслил, лишено всякого толка... С каким смыслом дан мне особый ум?.. Чтобы я кичился им? Иль, видя грядущую невзгодь Руси, страдал за всех непонятливых и уснувших богатырским сном?

...Братцы, ау-у! Московскому профессору-душеведцу срочно нужна в подмогу протянутая верная рука.

Логическая цепь моего жизнеустроения когда-то тоже провернулась другою, темною, стороною и вдруг, как нечистая сила, превратилась в систему сбоев. Я породнился с Зулусом, многое мне было дано, да мало что востребовано. Может, в столице я и удачлив на чей-то погляд, но здесь, в Жабках, я всего лишь некрасовитый случайный мужичонка, живущий в чужом старинном заплесневелом углу возле кладбища. Деревня прижаливает бедных, но почи-

тает богатых, она видит, что у меня стоптанные шлепанцы, спортивные штанишники с ридинами на коленях и старая машинешка, изъеденная ржавчиной, за которую нынче никто не даст и ста «зеленых». Я неудачник, бобыль и хожу помыться в соседи, значит, я не могу огоревать даже бани. В нынешние скаредные времена я не влез, потому я – Пашка, я не заслужил даже отчества. Вот соседи никто не кличет Яшкой, но все зовут Левонтьичем, потому что нос у него редькой, и даже в старости бабы тянут его в лес по грибы-ягоды... Можно лишь догадываться, по какой нужде. «Ой, срамник я, срамник, срамная страшная рожа».

Я стоял на крыльце и, занятый своими пустыми переживаниями, тупо вглядывался в проем двора, не пойдет ли кто мимо по улице. Может, и Татьяну подгадывал, похожую на припозднившуюся осеннюю бабочку, грустно облетающую оскудевшие, задеревеневшие травы. Лицо мое странно скукожилось, собралось в тугую болезненный кукишок, и тут я поймал себя на том, что по-идиотски улыбаюсь. Мысли вроде бы горестные, а на лице мечтательная, словно бы приклеенная, улыбка, от которой даже заныли губы.

В хлеву пронзительно заверещал поросенок, требуя к себе хозяйку. Забрнчали ведра, появилась Анна, значит, дневной природный крут действительно завершался. Открывая дверь в стойку, старуха глухо ворчала: «Бедило, ой, бедило, и зачем ты навязался на мою шею? Стер ты мою шею, окаянный». Анна разговаривала с сыном, будто он шел следом. «Хоть бы воды когда принес, зараза». И вдруг, открыв дверцу, вспомнила, что кормилицы-то нет, заревела в голос: «Пеструнька ты моя, красавушка ты моя», – восшумела бабеня, как замычала. У меня защемило в груди, и я готов был заплакать вслед. Ее горе я вдруг воспринял, как свое, словно бы это меня коснулось несчастье. Я даже на миг представил себя горящей Анной: вот вхожу в хлев и вместо Пеструньки, влажно дышащей, мерно жующей, уже соскучившейся по хозяйке, игриво подставляющей свой шерстнатый лоб для ласки, вдруг нахожу пустое потускневшее коровье место с охапкою приотоптанной соломы, щелястое оконце, заткнутое старенькой фуфайкой, низкую подволоку из тесаных жердей, сквозь которую сыплется сенная труха...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.